

Глава 6. За перепутьем: предпоследнее романовское царствование.

Итак, 1881 год стал еще одной (а по последствиям - едва ли не главной) роковой рубежной датой нашей истории, толчковым моментом, который на долгое время вперед определил позиции и взаимное отношение ведущих сил, а, тем самым, и общее направление дальнейшей исторической траектории России. Думается даже, что, не преуменьшая значения всех последующих событий и исторических метаморфоз, можно тем не менее исходить из того, что в известном смысле мы до недавнего времени жили **«под знаком восемьдесят первого года»**.

Это, однако, совсем не означает, что события периода, следующего за «толчковым» моментом, не представляют для историка особого интереса, так как они, дескать, являются всего-навсего простой реализацией определившейся тенденции. Подобный упрощенно-детерминистский подход представляется ущербным по нескольким причинам. Ведь то, что иногда, спустя многие десятилетия, а чаще - столетия после анализируемых событий, становится очевидным (или якобы очевидным) для нас (да и то лишь в рамках наших собственных, неизбежно огрубляющих реальную историю, теоретических схем), совсем не было очевидно для самих участников событий. Осознанно или неосознанно воспринимая себя в качестве не только объектов, но и субъектов исторического процесса, они далеко не всегда ограничиваются ролью пассивных пассажиров на конвейере истории. Подобного рода фатализм действительно присущ отдельным эпохам и системам мировоззрения, но отнюдь не является всеобщим. Имея собственные представления о смысле и возможном исходе событий, в которых они участвуют, либо даже не имея об этом вовсе никаких представлений, обдуманно или импульсивно, но люди действуют, совершают те или иные поступки, избирают тот или иной вариант поведения. И от того, как повела себя некая совокупность индивидов или даже отдельный человек в ситуации, исход которой с макроисторической точки зрения уже предрешен, все-таки зависит немало.

Пусть конечный результат детерминирован, пусть не нам довелось очутиться у исторического перепутья, на том рубеже, где несколько связанных действий или (в предельном случае) даже один поступок способны повлечь за собой неисчислимы последствия на многие годы и во многих областях жизни. Но почти всегда, даже в самых, казалось бы, однозначно сложившихся обстоятельствах, наш жизненный выбор, наши социально значимые поступки получают определенный общественный резонанс. Пусть наши действия не в силах изменить путь набравшего инерцию «колеса истории». Тем не менее от них и именно от них **зависит, какой будет конкретная форма, индивидуальная физиономия того или иного исторического процесса. А как раз это непосредственно и формирует судьбы отдельных людей и даже целых поколений.** Пусть мы не в состоянии повлиять на исторические закономерности. Это не может служить нам нравственной индульгенцией, оправданием индифферентности. И чем больше силы, знаний, таланта, умения нам дано, тем больше с нас спросится. Ведь подобные исторические периоды находятся не только **за** перепутьем, но и **перед** следующим перепутьем, поскольку в течение этих периодов исподволь формируется направление следующего «толчка», характер событий, которые произойдут на следующем историческом рубеже. Таким образом, изучение «промежуточных» периодов истории имеет смысл еще и в прогностическом плане.

К тому же, хотя в пределах каждого исторического периода направление движения в целом и определяется одним вектором, одним главным начальным импульсом, течение исторического потока далеко не всегда бывает плавным и равномерным. Ему сплошь и рядом приходится преодолевать возникающие препятствия, а на некоторых участках он получает дополнительные мощные импульсы. Эти импульсы по своей силе иногда даже превосходят первоначальный толчок, однако все же являются производными, поскольку представляют развитие, подкрепление, продолжение той же ранее определившейся тенденции и к тому же происходят в моменты, когда не существует возможности для толчка в каком-либо ином направлении. Другими словами, они

совершаются не на рубеже, не на перепутье эпох. От современников событий зависят интенсивность этого «вторичного» толчка, конкретные формы, в которые он выльется, иногда даже сам факт его возникновения, но не его направление. Вторичный толчок можно усилить, заблокировать или даже погасить в зародыше. Но невозможно придать ему другое направление, другую траекторию.

В рамках периода, к анализу которого мы сейчас приступаем, в качестве подобных производных, вторичных толчков можно рассматривать революции 1905 и 1917 гг., особенно, конечно, вторую. Более того, хотя с точки зрения исторической логики 1917 год представляется нам производным от 1881 г., но с учетом размаха непосредственно вызванных им социальных катаклизмов он несомненно заслуживает самостоятельного изучения.

Исходя из высказанных общих соображений, перейдем теперь к рассмотрению процессов развития, продолжения тех тенденций, которые возобладали в русской общественной жизни на рубеже восьмого и девятого десятилетий XIX столетия. При этом, несмотря на то что всю последующую российскую историю, и уж во всяком случае ее отрезок между 1881 и 1917 гг., мы рассматриваем как один этап, все же представляется целесообразным для более четкой хронологической «привязки» материала в структуре изложения в основном придерживаться традиционного подразделения русской истории на периоды царствования различных монархов. Поскольку в условиях абсолютной власти личность самодержца значит чрезвычайно много, подобный подход имеет не только формальный, но и историко-логический резон.

Итак, обратимся к периоду царствования Александра III. Как было отмечено в конце предыдущего раздела, последние четыре десятилетия романовского правления Россией проходили под знаком развития нескольких взаимообусловленных тенденций, которые сформировались к началу этого периода и в своей дальнейшей динамике сыграли для страны роковую роль. К их числу относятся углубление раскола русской интеллигенции, господство в сфере социально-политических действий ее системоцентристского, радикального крыла, нараставшее отчуждение

власти от существовавшей в обществе прогрессивной культуры. Как и при рассмотрении предшествовавших периодов российской истории, мы постараемся хотя бы общими штрихами обозначить уровень и тип общественного сознания всех основных социальных сил и слоев тогдашней России. А поскольку оно к данному моменту в значительной степени дифференцировалось, то и сам анализ, естественно, становится более дробным, чем раньше, и более значительным по объему.

В первую очередь обратимся к анализу той общественной подсистемы, которая наиболее активно влияла на состояние общества в целом, т. е., по Т. Парсонсу, была наиболее энергичным субъектом социального действия. В России такой подсистемой всегда являлась центральная власть - самодержец и его ближайшее политическое окружение.

Итак, какой же политический курс избрал царь, оказавшийся на престоле столь трагическим образом, когда обстоятельства сразу поставили его перед необходимостью недвусмысленно и без промедления отреагировать на ситуацию? Теоретически были возможны два решения - либо «ослабить гайки», либо «затянуть» их, либо в той или иной степени пойти навстречу ожиданиям рассчитывавшей на продолжение реформ части общества либо постараться законсервировать положение, а где возможно - и повернуть вспять. Народовольцы надеялись, что так или иначе, при содействии царя или вопреки его желанию, реализуется первая из названных возможностей. Однако, как известно, все произошло диаметрально противоположным образом, что окончательно доказало социальную слепоту народовольческого экстремизма. Да, видимо, по-другому и не могло получиться, ибо единственным ответом автократической власти на «прогрессивный» политический радикализм может быть политическая реакция. Одна крайность должна компенсировать другую.

Как известно, накануне своей гибели Александр II одобрил, но не успел подписать акт о созыве выборных представителей общества для обсуждения ряда намечавшихся преобразований. По внешним признакам это событие можно рассматривать как определенную аналогию екатерининской Комиссии по разработке Уложения. Однако по существу своему оно могло породить гораздо более значительные

последствия. И дело даже не в том, что александровская ассамблея была бы более представительной. Просто изменились времена, и чувства гражданской ответственности, гражданского самосознания уже перестали быть *terra incognita*, во всяком случае для части образованного населения России. Поэтому казалось более реальным рассчитывать на то, что народные представители не станут использовать предоставленные им возможности исключительно для холопских славословий в адрес августейшей особы либо для беззастенчивой групповой борьбы за долю «пирога», как случилось при Екатерине, а смогут сообща выработать нечто более или менее конструктивное. Во всяком случае намечался путь к постепенным социальным преобразованиям. Не без колебаний решаясь на это, высшая власть ясно отдавала себе отчет, на какую дорогу она вступает. Александр II, согласившись с лорис-меликовским проектом, понимал, куда это ведет, видя в этом первый шаг к конституции. Кстати, вполне вероятно, что подобный шаг был бы сделан несколькими годами раньше, если бы консервативно-охранительные установки власти не получали постоянного подкрепления в террористической деятельности радикалов. Так или иначе, но 1 марта были похоронены все надежды либеральных кругов и прекратились все колебания власти. Был избран последовательный жесткий консервативный курс. Правительство не только заморозило любые преобразования, но даже постаралось, где возможно, повернуть вспять. В частности, Александр III ввел ряд ограничений, которые в значительной мере выхолостили смысл и направленность реформ его отца. Так, земская реформа была практически перечеркнута учреждением института земских начальников, которые назначались правительством и подчинялись непосредственно губернатору, т. е. самоуправление было заменено правительственной бюрократией.

В том же духе была осуществлена в ходе судебно-административной реформы 1889 г.1) замена выборных мировых судей земскими участковыми начальниками, наделенными по отношению к крестьянам как судебными, так и административными полномочиями. Тем самым даже на местном уровне были ликвидированы заложенные при

Александр II начатки разделения властей. Были лишены корпоративных прав, прежде всего права избрания высших должностных лиц, и превращены в казенно-бюрократические учреждения также и университеты. В целом все социально-политические мероприятия правительства Александра III были проникнуты сугубо охранительным духом. В соответствии с подобным курсом подобрался и «мозговой центр» власти. М.Т. Лорис-Меликова с его «диктатурой сердца» сменил в роли ближайшего сотрудника государя обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. На протяжении 80-х годов Победоносцев был ключевой фигурой во внутренней политике Российской империи, и в силу этого следует обратить внимание на его личность. Разностороннюю характеристику личности Победоносцева и даже динамику ее развития можно найти в «Воспоминаниях» Б.Н. Чичерина, представляющих весьма ценный источник по истории социально-политической жизни и нравственному климату освещаемой нами эпохи. Они отличаются глубиной суждений по общим вопросам и яркими, сочными характеристиками отдельных событий и людей. Конечно, их ни в коей мере не следует воспринимать как «энциклопедию русской жизни». Но дух времени ощущается в мемуарах весьма явственно. А именно это для нас важнее всего. Поэтому мы будем неоднократно к ним обращаться.

Но пока о Победоносцеве. В течение многих лет Чичерин поддерживал с Победоносцевым личные отношения. В чисто человеческом плане он дает ему весьма положительную характеристику, особенно отмечая «дочиновничий» период жизни Победоносцева, а также первые годы его петербургской карьеры, когда еще не произошло так возмущавшее Чичерина его нравственное перерождение. Вместе с тем он отмечает недостатки образования Победоносцева и отсутствие у него качеств, необходимых политическому деятелю: «Государственного права он никогда не изучал, политического смысла не имел никакого, не ведал ни общественных собраний, ни общественной жизни и не годился не только в государственные люди, но и в администраторы. Это был чисто кабинетный человек, который весь день сидел за своими книгами и бумагами, работая усердно и ведя самую скромную жизнь в своем небольшом деревянном домике в Хлебном переулке. Благо было бы ему

и России, если бы он оттуда никогда не выезжал! Но судьба распорядилась иначе: из средневекового монаха она сделала петербургского чиновника и тем его погубила» 2). «При полном недостатке характера он поддался тлетворному влиянию окружающей среды. Болото его затянуло и затопило выше ушей; грязь залепила ему глаза, так что он потерял даже способность различать добро и зло. Положение пресмыкающегося начало казаться ему естественным состоянием человека, а хождение на своих ногах - непозволительным своеволием. Видя вокруг себя постоянные низости, он сделался к ним снисходительным и стал даже осуждать разделение людей на черных и белых. Все казалось ему одинаково окрашенным в тот темно-серенький цвет, который господствует в петербургской нравственной атмосфере... Чем выше он восходил, тем глубже эти растлевающие начала всасывались в его плоть и кровь» 3). «Даже в частных делах он стал проявлять такое полное отсутствие не только всякого чувства деликатности, но простой честности, что прежние его друзья не могли не прийти в изумление в происшедшей в нем перемене» 4).

Еще более уничижительные характеристики дает Чичерин другим персонам в правительстве Александра III. А назначение Д.А. Толстого министром внутренних дел он оценивает как решение, окончательно определившее дух и вектор правления - полный отказ от единственно спасительного пути постепенных либеральных преобразований, от союза с прогрессивно настроенными и в то же время обладающими чувством социальной ответственности умеренными кругами, движение по пути к всеобщей катастрофе. «Это был роковой шаг, определивший окончательно направление нового царствования. Правительство во всеуслышание заявляло, что оно в обществе не нуждается и отныне будет опираться исключительно на доползшее до вершин отребье бюрократических порядков. Это было вместе с тем проявление полного отсутствия всякого нравственного смысла в тех, кому вверены судьбы отечества. Макьявелли замечает, что князь познается по тем людям, которыми он себя окружает. Толстой был личным выбором монарха.» 5). Сам Чичерин резко реагировал на реакционный курс правительства, на то, что власть вручала бразды правления беспринципным,

раболепствующим ничтожествам и отвергала помощь порядочных людей. Он обращался к царю, к Победоносцеву, к общественности, апеллировал к здравому смыслу, к ответственности перед будущим, даже к элементарному инстинкту самосохранения. Результатом было лишь отстранение этого опытного, образованного, преисполненного желанием послужить Отечеству человека от всякой общественной деятельности. Карьера Чичерина представляется символом извечной порочности нашей кадровой политики, принципиальной неспособности высшей власти к блоку с лучшей частью русского общества.

Конечно, фигура Чичерина резко диссонировала с господствующей политической культурой и неизбежно должна была быть отторгнута той средой, которую сам он, будучи еще московским городским головой и одним из организаторов коронационных торжеств, видел так: «Царь явился, окруженный людьми, которые способны были возбуждать только негодование и презрение. ...Всякая разумная мысль, всякое живое чувство отвергались и подавлялись. К престолу допускалось одно только раболепие, закостенелое в рутине, интригующее в личных видах высшее чиновничество» 6). Из этой оценки властвующей элиты единственным образом вытекал и самый пессимистический прогноз относительно перспектив царствования: «В будущем представлялась бесконечная тьма, сквозь которую не пробивался ни единый луч света. Внешняя удача коронационных празднеств утверждала только ту бездушную систему управления, которая водворилась в России» 7).

Любопытная вещь. В истории России правители с либеральными устремлениями почти всегда оказывались людьми нерешительными, слабовольными, легко поддающимися влиянию соперничающих за место близ престола политических группировок. Поэтому и политический курс таких правителей обычно выглядит колеблющимся, непоследовательным, половинчатым. Вспомним хотя бы «тишайшего» Алексея Михайловича, Александра I, Александра II.

Зато консерваторы-охранители у кормила российского государственного корабля гораздо чаще были людьми последовательными, с твердыми убеждениями и уверенными властными ухватками. Классическим примером подобного твердого консерватора считается Николай I (с этой

оценкой нет оснований не соглашаться, хотя, если бы в начале его правления не был бы упущен шанс для реализации альтернативной исторической возможности, кто знает, может быть, Россия увидела бы у своего штурвала первого твердого либерала).

Но возвратимся к Александру III. К моменту своего вступления на престол он не успел (а может, был не способен) сформировать сколько-нибудь развитую систему политических взглядов. Ему пришлось делать это в экстренном порядке и при обстоятельствах, которые, как было сказано выше, предопределили выбор новоявленным императором определенных политических симпатий и, соответственно, политического курса. И тут Александр III оказался вполне на уровне фамильной традиции твердых консервативных правителей. Однажды выбрав курс, он последовательно придерживался его до конца. Этот курс был внутренне логичным и последовательным, и в первую очередь потому, что он в очень большой степени совпадал с культурными стереотипами доминировавшей в количественном отношении части населения страны, особенно тех наименее развитых его слоев, которые власть в рассматриваемый период избрала в качестве своей главной социальной опоры. Он совпадал и с общей логикой порожденной системоцентристским сознанием политической системы. Но дополнительную жесткость этому курсу придавало и то обстоятельство, что он соответствовал личностным свойствам нового монарха.

Думается, что пониманию «физиономических» особенностей политики Александра III в немалой степени может способствовать характеристика его личности, написанная Чичериным в те дни, когда император готовился к переселению в мир иной. Характеристика эта по своей глубине и выразительности не уступает, на мой взгляд, образам исторических персонажей, которые выходили из-под пера Ключевского. Она заслуживает того, чтобы воспроизвести ее полностью, без сокращений: «Нельзя не признать, что нынешний государь имел добрые душевные качества. Он был не только хороший семьянин, но и честный человек, с нравственными стремлениями, с чистой любовью к отечеству. Но лишенный от природы способностей, с натурою несколько грубою и не обтесанною воспитанием, получив образование самое скудное и

совершенно не пригодный к делу, он вступил на престол после страшного события, которое помутило все его мысли и перевернуло всю его душу. В этом растерянном состоянии он отдался людям, в которых ожидал найти опору колеблющейся власти, а они опутали его кругом, отдалили от него все живое, внушили ему самые ложные понятия и о состоянии общества, и о задачах правительства. Самодержавие довершило остальное. Власть, не знающая сдержек, естественно развивает все дурные склонности человека. Чем более она укреплялась, тем более приобреталась привычка всюду встречать раболепное повиновение, чем более личное самовластие становилось руководящим началом деятельности, тем более преследовалась всякая независимость и тупой произвол становился на место законного порядка. Я слышал от вполне достоверных людей, которые сами видели бумаги и снимали с них копии, поистине ужасающие рассказы о тех заметках, которые делались государем на представляемых ему донесениях. При всяком представлении о противозаконном сечении, например, георгиевского кавалера или купца второй гильдии сбоку ставилась надпись: «И прекрасно». На донесении орловского губернатора Неклюдова о том, что, подвергнув телесному наказанию мужиков, оказавших сопротивление начальству, он не трогал баб, хотя они были главными зачинщицами дела, государь надписал: «С них-то и следовало начать». Природная склонность к грубой силе, с привычкой к безграничной власти, проявлялась в более и более беззастенчивой форме. Это не был подавляющий и всеохватывающий гнет Николая I; после великих реформ Александра II это было уже притупленное орудие, которое обращалось на мелкие притеснения и уродливые искажения того, что было сделано предшественником. Но дело свое оно совершило» 8).

В этом миниатюрном очерке интерес представляют не только характеристика царя и его окружения, но и очертания социально-психологического механизма развращающего действия ничем не сдерживаемой, безответственной власти, под влиянием которой происходит перерождение и в конечном счете нравственный распад личности. Вообще об Александре III сказано мало хорошего. Из

серьезных источников исключение в этом отношении составляют, пожалуй, лишь мемуары С.Ю. Витте, начало правительственной карьеры которого совпало с царствованием Александра. Витте был явно пристрастен к царю и сумел написать о нем немало добрых слов. Хвалебные характеристики Александра выпадают из общего стиля и тона мемуаров, которые в целом выдержаны в весьма критическом по отношению к правительственным сферам духе. Однако если отбросить эмоциональные эпитеты, то в нарисованном Витте портрете из положительных качеств императора, по сути, остаются лишь твердость характера и последовательность, да еще солдатская прямота. Подтекст той настойчивости, с которой Витте привлекает внимание читателя к этим чертам личности царя, очевиден: противопоставление Александра его сыну Николаю, которого Витте многократно критиковал за непоследовательность, склонность к ведению двойной игры со своими советниками, неискренность.

События декабря 1825 г. наложили отпечаток на все царствование Николая I. В еще большей степени зловещее первомартовское знамение определило дух правления Александра III. В большей потому, что само царствование было в два с лишним раза короче. Как известно, первые два года, до тех пор пока трудившаяся все это время в поте лица политическая полиция не убедила его в том, что угрозы со стороны террористов больше не существует, царь провел в добровольном заточении, практически не выезжая из превращенной в укрепленный лагерь Гатчины, чем заслужил не слишком лестное прозвище «гатчинского пленника». Затем в течение всего своего правления Александр проводил бесплодную **политику ограниченных репрессий**, которая лишь ожесточала и закаляла противников правительства, но не уничтожала оппозицию как таковую и которую по этой причине и Макьявелли, и Токвиль считали считали абсолютно неэффективной.

Тот факт, что при Александре III карательная политика правительства против радикалов и вообще против политического инакомыслия значительно ужесточилась, общеизвестен. Существует обширная мемуарная, научная и художественная литература, на основании которой мы имеем подробнейшее представление о преследованиях

«политических» во всех формах и на всех стадиях работы репрессивной машины. Мы знаем об условиях предварительного следствия, о судебных процессах и приговорах, об условиях этапирования осужденных, о режиме всех основных тюрем каторжного содержания политзаключенных, о жизни ссыльнопоселенцев и лиц, поставленных под надзор полиции. Мы знаем о жестокости отбирившихся специально по признаку бесчеловечности тюремщиков Шлиссельбургской крепости, о казнях за «оскорбление действием» тюремного начальства и о том, что, по свидетельству автора пятитомной «Истории царской тюрьмы» М.Н. Гернета, из всего периода между 1762 и 1917 гг. самым суровым для «государственных преступников» был режим заключения именно во время пребывания на троне предпоследнего представителя династии Романовых. Образы благородных «узников совести» и составляющих им полный контраст тупых и безжалостных исполнителей реакционной политики преследования политических преступников с юношеских лет были элементом нашего воспитания.

Однако гораздо меньше известно, что **преследования** эти **затрагивали**, по существу, **ничтожную группу людей**. Об этом свидетельствуют и работы видного участника террористической деятельности С.М. Степняка-Кравчинского 9), который в силу своей общественной позиции уж никак не был расположен преуменьшать масштабы репрессий, и исследования современного советского историка Н.А. Троицкого. Согласно данным Троицкого, с середины 1882 до 1895 г. в судах всей Российской империи было рассмотрено 77 политических дел при 383 обвиняемых 10), из числа которых был осужден 291 человек, т. е. около 22 человек в год. Две трети этих дел были связаны с тюремными и ссыльными протестами, т. е. были направлены против людей, уже осужденных, что еще больше сокращает общее число репрессированных лиц. Следует также иметь в виду, что значительная часть осужденных привлекалась к ответственности не за политическую деятельность саму по себе, а за участие в террористических, народовольческих организациях, т. е. за совершение и подготовку насильственных действий против жизни людей. По делам этого рода за

указанный период времени было вынесено 59 смертных приговоров, но фактически казнено было 12 человек (в среднем менее одного за год), остальных помиловали 11). Кроме того, в царствование Александра III существенно возросли размеры административных преследований, а с восшествием на престол его сына Николая административная ссылка вообще превратилась в единственную форму государственных репрессий по отношению к политическим противникам (после смерти Александра и до конца века не было ни одного политического судебного процесса).

Конечно, с нравственной точки зрения в вопросе о сведении государством счетов со своими гражданами нельзя смотреть на дело с чисто статистических позиций. Но мы в данном случае занимаемся общими тенденциями и потому считаем необходимым констатировать, что политические репрессии времен Александра III по своим масштабам совершенно несравнимы ни с аналогичными мероприятиями «прогрессивного» Петра, ни с бироновщиной. А о советском времени и говорить не приходится - индустриальный размах репрессивных мероприятий «государства рабочих и крестьян» превосходит александровскую кустарщину на четыре (!) порядка.

К тому же сам режим содержания политзаключенных был в то время несравненно мягче, чем он стал несколькими десятилетиями позднее. Ни в коей мере не подвергая сомнению свидетельства, говорящие о жестокости и произволе тогдашних тюремщиков, отнюдь не будучи склонными недооценивать страдания, выпавшие на долю узников царского времени, мы все же не можем отрешиться от нашего знания последующей российской тюремной истории, от сравнения условий существования различных поколений заключенных. А посмотрев под этим углом зрения на режим заключения в самый жестокий, по свидетельству Гернета, период истории царских тюрем, мы с удивлением обнаруживаем в нем такие вольности, о которых советские политзаключенные в лучшем случае могли только мечтать.

Принудительный труд отсутствовал. Во многих тюрьмах камеры большую часть дня были открыты и заключенные ходили друг к другу в гости, беспрепятственно общались, устраивали собрания, диспуты и пр.

Заклученные избирали своих представителей - старост, которые совместно с администрацией участвовали в решении всех бытовых вопросов, в рассмотрении жалоб и конфликтов. Столь жестко преследовавшаяся в СССР взаимопомощь заключенных признавалась царской администрацией делом само собой разумеющимся. Ограничений переписки не существовало. Затруднения с получением свиданий возникали очень редко. Питание заключенных тоже, видимо, не вызывало особых нареканий. Об этом можно судить хотя бы по тому, как мало внимания уделялось данному вопросу в тюремных воспоминаниях. Такого рода отсутствие интереса к «низменным» вопросам свидетельствует не только о возвышенности духа тогдашних узников, но и о том, что они, в отличие от своих «наследников по нарам» в советских тюрьмах и лагерях, не подвергались перманентной пытке голодом. Тюремщики, как правило, обращались с «государственными преступниками» весьма уважительно, не стремились унижить их, психологически сломить, что, как известно, было повседневной практикой советских пенитенциарных учреждений. Не удивительно, что при таких условиях содержания политические заключенные в подавляющем большинстве сохранялись и физически, и как личности.

В образованных слоях общества (включая даже официоз) господствовала атмосфера сочувствия к политическим узникам. В отличие от советских времен уважавший себя человек считал своим долгом при случае высказать им в какой-то форме моральную поддержку. При этом власти отнюдь не воспринимали подобные действия как нарушение лояльности по отношению к себе. А какие-либо притеснения членов семей осужденных были и подавно немыслимыми. Более того, можно назвать немало случаев, когда родственники лиц, признанных опасными государственными преступниками, продолжали занимать высокие посты в государственной администрации. Когда находившийся в ссылке В.Г.Короленко демонстративно отказался присягать на верность Александру III и был за это арестован, не только его товарищи, но и сослуживцы, и должностные лица, включая полицмейстера и самого пермского губернатора, делали все от них зависящее, чтобы облегчить его положение, нисколько не боялись

различными способами выразить ему свою симпатию, оказать поддержку. Так, уже после того, как поступило официальное распоряжение об аресте Короленко, ему была предоставлена возможность зайти на службу, провести день с друзьями, подготовиться... На вокзале его, уже переданного жандармам, провожали сослуживцы, а правление дороги, где он работал в Перми, сочло нужным в тот же день оформить выплату ему награды 12).

В целом создается впечатление, что общество как бы сознавало перед репрессируемыми свою вину, некую моральную ответственность и в пределах возможного «извинялось» перед ними. Думается, что подобное отношение социальной среды к гонимым по политическим мотивам может служить показателем роста ее гражданского самосознания, признаком ее предрасположенности к восприятию персонцентристских культурных ценностей.

Назовем еще одно очень важное обстоятельство, которое свидетельствует о половинчатости и потому неэффективности репрессивной политики режима. Таким обстоятельством представляется существование в тот период в стране каналов для выражения общественного мнения, по своему духу оппозиционной политике правительства, и, соответственно, сочувственного отношения к жертвам репрессий. В их числе назовем прессу, деятельность адвокатов, индивидуальные и коллективные протесты и апелляции к правительству и обществу в связи с репрессиями, создание художественных и публицистических произведений, посвященных этого рода вопросам.

Функционирование перечисленных общественных институтов стало возможным благодаря реформам предыдущего царствования. Последовавшие во второй половине 70-х и в 80-е годы частичные попятные меры правительства лишь затруднили выражение общественного мнения, но не заблокировали полностью его рупоры. Результат получился противоположным ожидаемому: левое общественное мнение стало еще более непримиримым к власти по существу и более изощренным по формам и способам выражения своего к ней отношения. В частности, ужесточение цензуры печати в полном соответствии с концепцией либералов-шестидесятников, согласно

которой письменную литературу может убить только литература печатная, дало мощный импульс для развития неподцензурных изданий. Далее, в состав созданной в результате Судебной реформы 1864 г. независимой корпорации адвокатов с самого начала ее существования вошли «сливки» русской юриспруденции, люди, многие из которых оставили ради перехода на это новое для России гуманное общественное поприще выгодную государственную службу. Появление столь блестящего созвездия талантов в адвокатском сословии даже вызвало определенную тревогу в охранительных и консервативных сферах, обеспокоенных как интеллектуальным оскудением прочих областей юстиции, прежде всего прокуратуры, так и возникновением столь мощной когорты легальной оппозиции. Ведь многие из либерально настроенных адвокатов не только занимали весьма активную позицию на политических процессах, но порой придавали социальную остроту судебным заседаниям и по другим категориям дел.

Что касается протестов, апелляций и других публичных форм выражения несогласия с политикой правительства в этом вопросе, то, думается, далеко не полный перечень их авторов говорит сам за себя: Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко, Н.С. Лесков, В.М. Гаршин, С.Я. Надсон, Я.П. Полонский, А.Г. Рубинштейн, М.Н. Ермолова, В.С. Соловьев, И.М. Сеченов, М.М. Ковалевский, П.П. Семенов-Тяньшанский, К.А. Тимирязев, Н.И. Кареев, С.В. Ковалевская.

Особо следует отметить внезапную резкую политизацию такой еще незадолго до того индифферентной к политике группы, как художники. К началу царствования Александра III русская живопись окончательно спустилась с Парнаса и на какой-то (впрочем, весьма непродолжительный) период приобрела не меньшую гражданскую активность, чем литература. И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, В.А. Серов, С.И. Иванов, К.А. Савицкий, А.Е. Архипов, Н.А. Касаткин, В.В. Верещагин средствами своего искусства выражали неодобрение правительственным репрессиям и сочувствие деятелям революционного движения, поэтизировали и героизировали их образы, жертвы и страдания.

В разных формах с осуждением действий властей выступил почти весь цвет отечественной культуры, художественной и научной интеллигенции. Эта волна поддержки, конечно, отнюдь не означала, что перечисленные деятели разделяли радикальные политические взгляды. Более того, спустя всего пару лет многие из них отвернулись не только от радикалов, но и вообще от политики. Но в момент обострения репрессий они своим талантом, своей вызывающей глубокое уважение мужественной гражданской позицией оказывали решающее воздействие на общественное мнение страны. И, увы, стремление защитить гонимых и сам принцип свободы убеждений, как и имевшая в значительной мере сугубо эстетические корни романтизация образов борцов, воспринимались общественным сознанием как поддержка самих радикалистских догматов и символов их ложной религии. В российской истории самые благие намерения и самоотверженные поступки неоднократно мостили дорогу в ад. Такова одна из наиболее печальных ее закономерностей.

Впрочем, приходится констатировать, что террористическая деятельность русских радикалов встретила поддержку и сочувствие не только отечественной интеллигенции, но и западной культурной элиты.

Их поддержка мировым социалистическим движением естественна и закономерна. В то время большинство социалистов были сторонниками «решительных действий». Хотя применительно к своим домашним делам они, за редкими исключениями, только рассуждали на темы террора, эта их сдержанность не мешала (а может быть, и способствовала) преклонению перед не знающей преград одержимостью русских идейных союзников.

Не составляли в этом отношении исключения и основоположники революционного радикализма, причем их реакция на русские события была весьма любопытной не только в содержательном, но и в психологическом плане. К.Маркс, например, полагал, что возникновением народолюбивой партии Россия обязана тому, что там «Капитал» больше читают и ценят, чем где бы то ни было¹³). Подобное свидетельство тщеславной самоослепленности ярого глашатая объективных, прежде всего экономических, детерминант

общественного развития, согласитесь, не лишено психологической пикантности. Небезынтересен также и критерий, которым руководствовался Маркс в оценке успехов своего учения. В качестве показателя высокой степени этого успеха он сослался на наличие в России «центрального комитета террористов» 14) Ф.Энгельс под впечатлением деятельности русских террористов тоже позабыл о собственной теории революции как классового движения, об ожесточенной полемике с идеологом «революционного заговора» О.Бланки и заговорил об исключении из правил: «Это один из исключительных случаев, когда горсточка людей может сделать революцию, другими словами, одним небольшим толчком заставить рухнуть целую систему, находящуюся в более чем неустойчивом равновесии» 15). А мы почему-то ищем истоки феноменальной «гибкости» (а вернее, перманентной готовности перекроить теорию, приспособливая ее к условиям сиюминутной политической конъюнктуры) марксистского учения в писаниях уже нашего столетия.

Труднее объяснить феномен поддержки российских «нигилистов» более широкой, политически умеренной, а по своим базовым ценностям гуманистической общественностью Запада. Но факт остается фактом. «Народная воля» снискала себе поклонников в самых разных слоях западной интеллигенции. В 80-е и отчасти в 90-е годы по всему миру одна за другой проходили кампании солидарности с русскими революционерами: проводились манифестации, публиковались воззвания, читались публичные лекции, в разных странах возникали «Общества друзей русской свободы», не смолкали призывы к освобождению или облегчению участи русских политических заключенных. А когда французское правительство арестовало и вознамерилось выдать царским властям участника одного из покушений на Александра II - Л.Н.Гартмана, во Франции разразилась буря, во главе которой встали властители дум цивилизованного мира. Виктор Гюго обратился к правительству с открытым письмом, рефреном которого служило заклинание: «Вы не выдадите этого человека!» Джузеппе Гарибальди заявил: «Гартман - смелый молодой человек, к которому все честные люди должны питать уважение и признательность. Министр

Фрейсине и президент Гриви не сохранят за собой имени честных республиканцев, если выдадут политического изгнанника». Л.Г. Дейч (впоследствии видный меньшевик) так описывает в своих мемуарах степень общественного возбуждения: «Агитация в пользу освобождения Гартмана приняла невероятные размеры. По несколько раз в день газеты выпускали специальные приложения по поводу дела Гартмана. Имя его непрерывно выкрикивали разносчики, и на время он сделался самым популярным человеком не только в Париже, но и во всем цивилизованном мире» 16). Франция - не Россия. Правительство отступило перед натиском общественного мнения. Гартман оказался на свободе. Более того, он стал уполномоченным «Народной воли» за границей и объездил Европу и Америку с пропагандистскими лекциями о своей партии, ее целях и деятельности.

Умеренный либерал и скептик Марк Твен в 1889 г. публично выступил с прямо-таки экстремистским призывом: «Если правительство, подобное теперешнему русскому, не может быть низвергнуто иначе как динамитом, то слава Богу, что существует динамит».

С поддержкой русских радикалов в течение рассматриваемого периода неоднократно выступали люди, по своим убеждениям весьма далекие от социалистических и революционных идеалов: психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо, полярный исследователь Нильс Норденшельд, астроном Камиль Фламарион, историк христианства Эрнест Ренан, философ Герберт Спенсер, журналист Джордж Кеннан, министр Джон Морли, публицист маркиз Анри Рошфор, поэт Чарльз Суинберн и многие другие. Изображаемый с явной авторской симпатией русский народоволец с конца 70-х годов стал весьма популярным героем западной литературы. К этому образу обращались Оскар Уайльд, Жюль Верн, Эмиль Золя, Альфонс Доде, Ги де Мопассан, Джон Голсуорси, Джозеф Конрад, Артур Конан Дойл, Этель Лилиан Войнич, Стефан Жеромский, Август Стринберг и ряд менее известных нам писателей и драматургов.

Чем же объяснить эту мощную волну симпатий и интереса у людей, которым на примере Франции были хорошо известны все ужасы и мерзости революционного террора?

Видимо, чувство отвращения к деспотизму, к несвободе, которые олицетворяло тогда русское правительство, было столь сильным, что заглушило рациональные соображения. Самодержавие, несмотря на все старания его внешнеполитических эмиссаров, вызывало у европейцев по меньшей мере подозрение и неприязнь как упорной склонностью к внешней экспансии, так и своим, по сути дела, рабовладельческим внутренним режимом. А тут появились люди, смело и решительно выступающие против самодержавия. Чисто эмоционально их образы очень располагали к себе: борцы с горящими глазами, твердым характером и благородными бескорыстными намерениями. К тому же они были гонимыми, преследуемыми, а это в гуманном сознании почти автоматически вызывает дополнительное сочувствие. Бомбы террористов взрывались в далекой стране, и европейцы наблюдали эти события как бы из зрительного зала. А на сцене кровь, кинжалы, конспирация, пламенные речи на суде всегда выглядят романтически приподнято, особенно когда они направлены против несправедливости. Плюс ко всему сыграла свою роль и талантливая пропаганда русских политических эмигрантов. Впрочем, им было не слишком сложно добиваться нужного эффекта на столь выигрышных в социально-психологическом отношении материале и фоне.

Глубоко в суть происходивших в России процессов европейцы не вдавались. К тому же в то время тактика террора «снизу» еще не дискредитировала себя в глазах общества, не показала ясно своей аморальности и бессмысленности. И вообще, какие претензии можно предъявлять европейцам, если многие из самых светлых российских умов, находясь в гуще событий, поддались тому же ослеплению?

Но закончим экскурс в проблематику «культурной оппозиции» политике русского правительства внутри и вне страны. Мы затронули этот вопрос только с целью показать отношение к избранной властью линии поведения со стороны культурной элиты общества, т. е. слоя, который к рассматриваемому периоду приобрел весьма значительный моральный авторитет и влияние на общественное сознание.

Что же смогло противопоставить своему просвещенному оппоненту правительство, которое, как мы видели, состояло отнюдь не из ярких

личностей и уж никак не могло претендовать на роль мозгового центра нации? Унылую серость традиционной охранительной жвачки, сконцентрированную в лозунге «православие, самодержавие, народность»? При всей своей ограниченности правительственные деятели тем не менее понимали явную недостаточность такого рода пищи для умов и чувств своих подданных. Ведь «на дворе» как-никак стоял уже конец XIX в.

В интеллектуальной области ретроградное и ограниченное окружение Александра III в принципе было не в состоянии предложить что-либо мало-мальски заслуживающее общественного внимания. Поэтому оно избрало путь апелляции к народным чувствам, к эмоциям. Официальная пропаганда и практическая политика обратились к наиболее древним и устойчивым особенностям национального системоцентристского сознания, к самым глубинным и потому абсолютно надежным массовым стереотипам.

Речь идет об **эксплуатации традиционной российской ксенофобии**, использовании извечного неприятия «чужих» и возложении на них ответственности за собственные подлинные и мнимые беды. Короче говоря, был взят на вооружение извечный бич всей человеческой истории, идущее еще от первобытных времен разделение людей на «своих» - «чистых», и «чужих» - «нечистых». В данных конкретных исторических условиях оно получило облик великорусского шовинизма. Лозунгом дня стало: «Россия - для русских».

Правительство Александра III развязало и возглавило настоящий крестовый поход за русификацию страны. По всей Империи его эмиссары под предлогом «искоренения местного сепаратизма» с носорожьей яростью топтали любые проявления национальной культуры и национального духа нерусского населения. Все гарантии, данные предыдущими царями, были отброшены, все имевшие вековые корни и традиции национальные права и учреждения подверглись разрушению. Отныне обучение, делопроизводство и даже публичное общение всех подданных императора, независимо от их национальности, предписывалось вести только на русском языке. В своем неистовом стремлении к тотальной казарменной унификации не знающая сдержек

власть доходила до полнейших нелепостей. На Украине учащихся наказывали за хоровое исполнение народных песен. В Прибалтике отдавали под суд врачей, которые сохраняли на дверях таблички, написанные на родном языке. Один из лучших университетов Европы - Дерптский - был разгромлен и низведен до уровня русского захолустья. Подобная участь ждала и весь так называемый Остзейский край, который российское правительство намеревалось превратить в некое подобие Рязанской или Тверской губернии.

К счастью, такого рода насильственная ассимиляция коренного населения в истории мало кому удавалась. (Собственно, благодаря этому свойству повышенной культурной сопротивляемости, характерному для лишенных политической самостоятельности народов, наш мир и представляет собой столь прекрасную и разнообразную мозаику.) А уж бездарному правительству Александра III эта задача и подавно была не по плечу. Единственное, на что оно было способно, - это давить коленом на крышку незакрывающегося сундука, до отказа набитого нерешенными проблемами.

Давление шло не только по национальной, но и по религиозной линии. «Данное в прошедшее царствование разрешение при браках лютеран с православными крестить детей по воле родителей было отменено. Сотни почтенных пасторов подверглись преследованиям и ссылке за исполнение самых священных своих обязанностей... Распространяющийся на юге штундизм в особенности подвергся неумолимому преследованию. Еще горшая участь постигла польских униатов, насильственно присоединенных к православию и упорствующих в своей вере. Сотни несчастных по целым годам томятся в тюрьмах; дети остаются некрещеными, а те, которые, ставя божественное повеление выше человеческого, осмеливаются крестить их тайно, с помощью проезжих ксендзов, подвергаются всей суровости закона и всей беспощадности административного произвола, посягающего на совесть 17).

Разгул шовинизма наблюдался не только по периферии Империи. «Истинные патриоты» как в правительственных кругах, так и в простом народе, координируя свои действия без слов, по еле уловимым со

стороны намекам, начали травлю главного «внутреннего врага» - «жидов».

Наличие свидетельства вдумчивого и наблюдательного очевидца событий - все того же Б.Н. Чичерина - избавляет нас от необходимости самостоятельно излагать фактическую сторону происходившего: «Всего ярче характеризуют современный дух правительства возобновившиеся гонения на евреев. Самые низкие народные страсти снизу и самая узкая нетерпимость сверху, все соединилось для отягчения судьбы этих несчастных. В начале царствования произошли на юге избиения и грабежи, позорные для благоустроенного общества, и как бы в ответ на этот вызов черни со стороны правительства последовал целый ряд мер, которыми не только подтверждались, но и устанавливались новые. Даже в чертах оседлости евреям воспрещается не только покупка, но и аренда земель; воспрещается содержание питейных заведений; ограничивается для них доступ в гимназии и университеты. Теснимые отовсюду, они нигде не видят исхода. И все эти меры проводятся с неумолимою строгостью. Мягкая политика прошедшего царствования (Александра II. - А.О.), не отменяя стеснительных законов, смотрела сквозь пальцы на их нарушение. Множество евреев поселились в разных великорусских городах. Москва ими наполнилась, и князь Долгорукий (московский генерал-губернатор, занимавший этот пост более четверти века - с 1865 до 1891 г. - А.О.) пользовался этим для своих денежных дел, как вдруг последовало повеление об изгнании всей этой массы... перед приходом нового генерал-губернатора велено было Москву очистить от евреев. И вдруг в несколько дней произошло повальное изгнание всех, кто по закону не имел права жительства в столице. Семьи, давно поселенные в Москве, имевшие в ней свои занятия и торговли, ученицы консерватории, учителя и учительницы, ремесленники и антиквары, люди самые безобидные и полезные, получили приказание в самый короткий срок выехать в черту оседлости. Никакие просьбы и настояния не помогали. Мера была исполнена с беспощадной суровостью, несмотря на вопли бедных семей. Это был Исход, напоминавший времена фараонов. И так поступали не язычники, для которых иноверец и иноплеменник был чем-то вроде отверженного;

это делали христиане относительно племени, от которого они получили все свое нравственное достояние и которого единственная вина заключалась в том, что оно в течение веков, рассеянное и гонимое, крепко держалось переданного ей предками священного завета, между тем как гонители попирали ногами и требование справедливости, и всякие человеческие чувства, и всего более начала христианской любви¹⁸).

Хотелось бы сделать лишь одну ремарку к завершающей рассказ Чичерина моральной сентенции, к тому, что касается действительно вопиющего несоответствия травли евреев нравственному кодексу подлинного христианства. К несчастью, эти преследования не были чем-то из ряда вон выходящим. Как известно, христианская вера за два тысячелетия еще не слишком преуспела в разрушении в массовом сознании древнего инстинкта ксенофобии. Иначе вся история человечества выглядела бы по-другому. Хуже того, зачастую христианство своим авторитетом освящало кровавые межнациональные конфликты, что в корне противоречит его подлинному духу.

Правительство рассчитало точно. Борьба с «инородцами» позволила отвлечь массовое сознание от иных проблем. В стране возникло нечто вроде «национального фронта», который объединил под черными знаменами самые разные слои населения. Шовинизм, неприязнь к вынужденным жить на территории Империи инородцам стали мощным магнитным полем, интегрировавшим «истинных патриотов» независимо от их социального статуса, от крестьян до аристократов. Разница состояла лишь в том, что чернь просто-напросто громила еврейские дома и лавки, а власть имущие, лицемерно высказывая сожаление по поводу наиболее вопиющих актов вандализма, использовали для гонений на евреев аппарат государства и тем самым, по существу, инспирировали новые погромы. (Кстати, подобное фашиствующее националистическое сознание, обращенное вовнутрь страны, до определенного момента прекрасно уживается с жадным преклонением перед плодами чужеземной культуры и охотой за ними, особенно в бытовой области.)

Как всегда, отличную от всех позицию заняла в этом вопросе интеллигенция. Национальная ограниченность, особенно в тогдашней агрессивной версии, была в общем чужда интеллигентской психологии. Однако до активных протестов против шовинистической политики поднялись очень немногие (как, впрочем, обычно бывает в России). Диссонансом «всеобщему одобрению» и «всенародной поддержке» прозвучали протестующие голоса части университетской профессуры, Льва Толстого, Владимира Соловьева, того же Чичерина, который, однако, меланхолично отмечал: «Русское общество вообще смотрело равнодушно на это позорное гонение. Масса пошляков даже рукоплескала суровым мерам правительства. Однако нашлись люди, которые задумали предъявить протест... Разумеется, все это делалось только для очищения совести. Практической пользы это не могло принести» 19).

К сожалению, развернувшаяся в России шовинистическая вакханалия не получила отпора и должной оценки не только внутри страны, но и за ее пределами. По-видимому, это в первую очередь объясняется тем, что и в самом западном мире в тот период поднималась волна национализма. На Европейском континенте национализм стал фигурировать в качестве самодовлеющего фактора культурной и политической жизни народов примерно около 1870 г. и, за исключением некоторых локальных и временных флуктуаций, продолжал оставаться таковым вплоть до середины XX столетия, когда сорвалась экспонента его губительного влияния на судьбы людей, народов, культуры.

Л.Н.Толстой в работе «Христианство и патриотизм» оценивал эксплуатацию патриотических чувств, «гипнотизацию» народа через сознательное разжигание патриотизма, как один из самых низких, антихристианских по самой своей сути механизмов манипуляции людьми: «Патриотизм... есть не что иное для правителей, как орудие достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых - отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти» 20) А позднее, уже незадолго до смерти, как бы поднявшись над окружающим миром и оценивая его с позиции своих нравственных максим, он как бы завещал нам в очерке

«Патриотизм и правительство»: «...нужно, чтобы люди поняли, что чувство патриотизма, которое одно поддерживает это орудие насилия (государство - А.О.), есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное - безнравственное» 21). Не считая себя вправе спорить с гением, хотел бы все же заметить, что Толстой в этих своих работах по каким-то причинам не считал нужным проводить различие между патриотизмом и национализмом, шовинизмом. В этом отношении более тонким представляется анализ, который дал этим явлениям Альберт Швейцер, считавший национализм главным виновником кризиса европейской культуры. В книге «Культура и этика» Швейцер показал, как идея национального государства к началу XIX в. оформилась в качестве средства, способствующего воплощению в жизнь идеалов культурного, ориентированного на высшие общечеловеческие ценности общества, но затем постепенно обрела значение самостоятельной ценности, а позднее, с упадком других культурных институтов, стала господствующей в системе социальных ценностей. В частности, он писал: «Что такое национализм? Неблагородный и доведенный до абсурда патриотизм, находящийся в таком же отношении к благородному и здоровому чувству любви к родине, как бредовая идея к нормальному убеждению... Национальное государство должно искать свое величие в отстаивании идей, способных принести благо всем народам... Таким образом, национальное чувство ставится под опеку разума, нравственности и культуры. Культ патриотизма как таковой должен считаться проявлением варварства, ибо таковым он обнаруживает себя в бессмысленных войнах, которые неизбежно влечет за собой. Национальная идея в конце подменила подлинные идеалы культуры и еще больше стимулировала и усложнила состояние бескультурья представлениями и убеждениями, внушенными уродливым националистическим подходом к жизни» 22).

Но вернемся к «рычагам управления», использовавшимся правительством Александра III. Помимо репрессий и псевдопатриотических чувств оно опиралось еще на один старый, как мир, но весьма действенный способ - на подкуп. Заняв крайне ретроградную позицию в области социальной и экономической политики,

правительство взамен проведения социальных преобразований пыталось самым непосредственным образом покупать преданность подданных.

Приняв тактику подкупа различных слоев населения в качестве одного из общих принципов обеспечения своей политической базы, власть стала раздавать различные привилегии и делать всяческие жесты в сторону тех социальных групп, поддержкой которой она считала необходимым заручиться. В первую очередь «золотой дождь» пролился, конечно, на головы «соли земли русской» - дворянства. Был учрежден Дворянский банк, из которого дворяне-помещики могли получать ссуды на исключительно выгодных условиях. Более того, им выдавались безвозмездные разовые пособия. И верность дворянства была куплена. Однако деньги не пошли впрок, поскольку дворяне в своей массе расценили их как «манну небесную», посланную им в награду за холопскую преданность престолу, и употребили их не на хозяйственные нужды, а попросту растратили. В итоге, как отмечал Плеханов в 1894 г., «в настоящее время, спустя 13 лет после начала нашей реставрации, мы имеем дворянство более «лояльное» и более задолженное, чем когда бы то ни было. Правительство Александра III привело «первое сословие» к экономическому краху и к полнейшей деморализации. Полученные от Дворянского банка деньги не только не улучшили, а, напротив, ухудшили его экономическое положение» 23).

То же самое «мужицкий царь» Александр III сделал и в отношении крестьянства. Он учредил Крестьянский банк, отменил подушную подать и снизил выкупные платежи. Однако и крестьянству эти меры также не принесли особого благоденствия.

Способом, несколько более сложным по форме, но тем же по сути, была куплена верность буржуазии и купечества, которые, по меткому выражению Плеханова, «только выиграли от распродажи с молотка дворянской «верности» 24), так как часть дворянских денег в конечном счете попала в их руки. Но основным средством подкупа купечества стала политика мощного таможенного протекционизма. Пошлины на заграничные товары превратились в запретительные. Таким образом, российский рынок был практически закрыт для иностранных

предпринимателей. Русский капитализм, ранее неконкурентоспособный, получил возможность для своего беспрепятственного развития.

Сама по себе подобная ситуация имеет как плюсы, так и минусы. По крайней мере в мировой практике известно множество случаев, когда национальные правительства подобным способом оберегали собственную промышленность, по тем или иным причинам не выдерживавшую прямой конкурентной борьбы. Однако представляется, что в русских условиях, при отсутствии в буржуазной среде традиций подлинно деловой, капиталистической этики, такого рода покровительство имело еще и тот дополнительный минус, что оно, по существу, поддерживало и оберегало как раз те свойства традиционного русского генотипа, которые отнюдь не способствовали развитию здоровой капиталистической экономики: недобросовестность в делах, отсутствие перспективной ориентации (т. е. стремление поскорее сорвать максимальный куш, а там - «хоть трава не расти»), обыкновение подавлять конкурентов внеэкономическими средствами.

Последняя из названных черт русского предпринимательства в рассматриваемое царствование с особенно разрушительной силой проявилась благодаря шовинистической политике правительства. Чичерин в связи с гонениями на евреев писал об огромном вреде, причиненном Центральной России разгромом еврейского предпринимательства, в результате чего «расово чистые» русские дельцы превратились в монополистов со всеми вытекающими последствиями: «Всякий, кто соприкасался с местной жизнью, знает, что русский кулак в десять раз хуже всякого жида. Оборотливый еврей довольствуется малым барышом, а русский всегда старается отхватить как можно больше, без малейшего зазрения совести. Эту привычку имеют не только мелкие деревенские ростовщики, но и самые крупные торговцы. Русским помещикам известно, какое благодеяние составляет появление в крае еврейских комиссионеров, избавляющих производителей от монополии местных хлебных торговцев» 25). Плеханов дает тому же вопросу еще более широкую трактовку: «После того, как иностранный конкурент был почти совершенно вытеснен с внутреннего рынка, купечество затеяло войну против ста с лишним

предпринимателей - русских подданных, - либо не принадлежавших к православной церкви, либо некоренного русского происхождения. Евреи, поляки, финляндцы должны были один за другим вкусить прелести нового режима. А спекулянты патриотических чувств все еще не были довольны. Было очевидно, что они будут довольны только тогда, когда будет совершенно разрушена промышленность Польши и Финляндии» 26).

На предшествующих страницах мы постепенно переходили от анализа социальных установок главного субъекта социального действия - центральной власти - к рассмотрению стереотипов различных слоев населения. Теперь сосредоточим на этих вопросах главное внимание.

Начнем с **«первого сословия»**, т. е. с **дворянства**. О дворянстве и его этике написано много разных и даже взаимоисключающих вещей. Не только в массовом, но и в просвещенном сознании обобщенный образ российского дворянства включает в себя противоречащие друг другу компоненты. Тут и жесткое помещичье самодурство, и корыстолюбие, и чванство, и культурная ограниченность, и политическая неразвитость, и крайний конформизм по отношению к власти, и другие столь же малопривлекательные черты. Но этот образ содержит и такие качества, как великодушие, благородство, бескорыстие, свободное владение всем достоянием мировой культуры, либеральное свободомыслие и даже революционность.

И все это правда. Ни одну из перечисленных черт нельзя отвергнуть как недостоверную - в подтверждение каждой существует богатый фактический материал. Только характеристики эти относятся к разным кругам дворянства и к разным историческим периодам. Ведь дворянство, особенно начиная со второй половины XVIII в., не было ни однородной, ни застывшей массой.

Впрочем, в данном случае наша задача стоит существенно уже и определеннее. Нам нужно выяснить, каким образом можно охарактеризовать господствовавший среди дворянства в рассматриваемый период дух с позиций нашей основной дихотомии: **системоцентризм - персоноцентризм**.

Обратимся вновь к авторитету Чичерина, для которого дворянская среда была родной стихией и который в силу своей многолетней деятельности на различных общественных должностях превосходно знал его как на провинциальном, так и на столичном уровне. Правда, его упрекают в сословной ограниченности, и, надо признать, не без определенных оснований. Но тем больше доверия в таком случае вызывает резкая критика Чичерина в адрес дворянства: «Очевидно, конституционные стремления московского дворянства были чисто напускные. Это было минутное раздражение за освобождение крестьян; скоро оно рассеялось, не оставив по себе и следа. Сознание права не находило почвы в России. Века холопства не дали развиваться этому началу, и проповедь, которая в немецкой сфере нашла бы самую горячую поддержку, у нас звучала в пустоте» 27). Особенно отчетливо проявилось дворянское холопство в связи с охранительными мероприятиями правительства Александра III, не только перечеркнувшего основные принципы Земской реформы предыдущего царствования, но и пошедшего еще дальше в области ограничения дворянского самоуправления. Лишение гражданских прав оно решило возместить дворянам прямой материальной «компенсацией», т. е. купить их расположение. И в этой унижительной ситуации представители дворянского сословия, т. е. самой просвещенной, имевшей наибольшие традиции свободомыслия и наиболее развитые понятия о чести части общества, не только не заняли сколько-нибудь достойной позиции, но, напротив, стали соперничать друг с другом в самом низкопробном раболепстве. На высочайшее имя посыпались выдержанные в самых холуйских тонах адреса, подтекстом которых, по существу, была благодарность за «утеснительные» меры правительства. Но послушаем Чичерина: «Таким образом, справедливому негодованию за умаление прав затыкали рот медными грошами, добытыми безнравственным путем... К умалению прав присоединялось лицемерие и нравственное унижение. О чести благородного сословия давно уже перестали говорить. Самое понятие о ней утратилось.

И надобно к прискорбию сказать, многие дворянские собрания отозвались на эти недостойные приманки. Губернские представители,

наперерыв друг перед другом, старались подслужиться, и дворяне, ожидавшие золотых гор от нового банка, следовали за ними с увлечением. Раболепными адресами наполнялись столбы газет. В лирических излияниях выражалось, как дворянство возликовало от грошовых подачек и увидело перед собою зарю новой жизни. Я не мог читать их без омерзения. Помнится, черниговское и нижегородское дворянство особенно отличались своими восторгами, но и московское, некогда столь либеральное, не отставало от других.

Были, однако, немногие почетные исключения» 28). Но самое ужасное, с точки зрения Чичерина, состояло в том, что дворяне обратились к власти на языке и в выражениях, более свойственных не концу XIX, а XVII в. **Сословие, которое на заре XIX в. положило начало новой для России персоноцентристской породе людей и в течение ряда десятилетий выступало как их главный поставщик и питательная среда, к концу столетия в основной своей массе по-прежнему оставалось системоцентричным.**

И, к сожалению, именно из этой массы, а отнюдь не из лучших представителей сословия формировалась правившая страной элита. Из таких людей и формировалась, за немногими исключениями, олигархия, распоряжавшаяся десятками миллионов человеческих судеб. А отсюда следовало очень многое.

Об этике «второго сословия» - духовенства - довольно подробно говорилось при анализе социальных установок русского общества в период царствования Александра II. И сказанное там целиком сохраняет силу по отношению к рассматриваемому периоду и даже к еще более поздним и близким к нам временам. Эпохи менялись, однако сословие это оставалось все тем же. А поскольку вокруг жизнь все же не стояла на месте, то постепенно падал его и без того небольшой моральный авторитет у народа.

К рассматриваемому периоду духовенство сохранило заметное влияние, пожалуй, лишь на крестьянство, которое, впрочем, тоже воспринимало его не столько как духовных наставников, сколько как один из видов «начальства» со своими специфическими требованиями. Впрочем, в

последующие, предреволюционные десятилетия духовенство в значительной мере утратило и эту свою последнюю социальную базу.

В моральном сознании крестьянства разрушалась единственная нравственная опора. Постепенно накапливавшиеся деструктивные изменения с ужасающей силой и ясностью обнаружили себя во время революции, когда полностью рассыпался миф о якобы глубокой религиозности русского народа и его искренней приверженности православию. Об этом будет сказано более подробно в надлежащем месте. Сейчас же для нас важно зафиксировать, что православная церковь не смогла надлежащим образом выполнить свой исторический долг, состоящий в необходимости привить народу систему твердых моральных принципов.

Конечно, не следует отказывать в высоких нравственных качествах всем подряд представителям духовного сословия. Но толстовские отцы Сергии были единицами, исключениями, поднявшимися над своими собратьями **вопреки** господствовавшим этическим нормам и психологическим установкам. Священническая корпорация не только не способствовала выдвижению такого типа личностей из своей среды, но, напротив, старалась всячески «подравнять» все, что начинало выделяться из общего уровня священнической массы. С точки зрения корпоративных интересов данное стремление легко объяснимо, поскольку выдающиеся духовные пастыри часто становились неуправляемыми, а проповедник порой превращался в обладающего колоссальным влиянием социального лидера, окруженного армией целиком преданных ему последователей.

Тактика уничтожения любых отклонений в зародыше, ориентация на серый конформизм работали на постоянное снижение уровня духовенства, по существу, на его вырождение. Ведь не случайно наиболее независимые и способные люди из духовного звания всеми возможными способами стремились вырваться за пределы сословия. Тенденция эта особенно усилилась именно в последние царствования. Обычно такие люди пополняли ряды разночинной интеллигенции. Многие из них сделали заметный вклад в развитие русского общества, в том числе в распространение в нем персонцентристских ценностей. Но

при этом они переставали быть представителями породившего их сословия.

Об этике «третьего сословия». Историческая судьба его в России оказалась иной, чем на Западе. Да и само оно было иным.

Вспомним, в каких условиях складывалась капиталистическая этика европейских буржуа. Уже поднялось над горизонтом солнце культурного Ренессанса. Уже насчитывали столетия и продолжали развиваться традиции городских и цеховых вольностей, т. е. традиции определенной независимости, защищенности торгово-промышленного люда от произвола власти. Да и сами основания власти, как светской, так и церковной, все чаще становились предметом ожесточенной полемики, ареной страстей, порой кровавых, которые иногда раскалывали целые народы. А на рубеже XV и XVI вв. у европейцев появилась возможность выбора вероисповедания и священнослужители оказались перед необходимостью силой убеждения завоевывать умы и сердца паствы. Словом, все подвергалось сомнению и переосмыслению. Таким образом, сложились среда и атмосфера, которые весьма способствовали ломке устаревших массовых стереотипов, выработке новых этических норм и ценностей. Но даже в столь благоприятных условиях процесс кристаллизации персонцентристского сознания как массового явления занял века.

А ведь в России ничего подобного не было. Мы помним, как закладывались Петром I основы отечественного предпринимательства: в условиях усиливающегося деспотизма и несвободы, с использованием в качестве главного рычага управления не стимулов, а антистимулов - из-под палки, под страхом финансовых кар и острога, при поощрении доносительства в качестве метода конкурентной борьбы. Статус рабочей силы на русских квазикапиталистических предприятиях мало отличался от положения рабов, т. е. использовалась система, хозяйственная неэффективность которой стала очевидной римлянам еще в самом начале нашей эры.

Поэтому и **российское подобие западных буржуа** с момента своего возникновения как бы **получило** «в нагрузку» от среды **качества, прямо**

противоположные духу и смыслу капиталистической этики,- склонность приносить в рыночные, по сути, отношения такие посторонние им факторы, как связи с носителями власти всех степеней и уровней, от министра до урядника; использование полицейских каналов для получения привилегий и устранения конкурентов; прямой бандитизм; отсутствие заинтересованности в рациональной постановке дела, умения обеспечить его устойчивость, долговременную рентабельность и перспективу постепенного расширения.

В российских условиях подобные качества в общем оправдали себя. Ведь «правила игры» были установлены таким образом, что нормальному капиталистическому предпринимателю было трудно успешно функционировать в условиях российской квазирыночной экономики, если он только не пользовался в какой-то форме покровительством властей. Вместо принципов западной трудовой этики здесь господствовали отношения, зафиксированные в исключительно емкой и точной формуле народной мудрости: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Именно в этом состоит главный, веками воспроизводимый генетически и подкрепляемый воздействиями среды стереотип русского отношения к свободной трудовой деятельности!

И хотя внутренняя логика хозяйственной, экономической деятельности требовала качеств совсем иных, чем перечисленные, внешняя по отношению к ней логика всей социальной системы, внеэкономические факторы долгое время оказывали на этику «третьего сословия» решающее влияние. Поэтому системоцентристские установки были характерны для него в той же степени, что и для дворянства. Более того, отталкивающие черты системоцентристской этики проявлялись у него в еще более резких и грубых формах, так как русские купцы и промышленники были в отличие от дворян свободны от смягчающего, приглаживающего воздействия образованности и сентиментальности, свойственной целыми поколениями пребывавшему в дремотной неге ничегонеделания «первому сословию». Весьма достоверные и выпуклые зарисовки этики русских «буржуа» рассматриваемого периода оставил нам Д.Н. Мамин-Сибиряк.

Впрочем, либеральные мероприятия предыдущего царствования оказали воздействие и на это сословие. В условиях оживления хозяйственной активности и некоторого уменьшения зависимости предпринимателей от произвола правительственных чиновников практический здравый смысл, сама специфика экономической деятельности начали мало-помалу размывать прежние стереотипы и подготавливать почву для образования новых, более соответствующих западным образцам. И в конце концов это дало свои плоды. **Появились купцы, усвоившие либеральные политические ценности.** Как побочный продукт этого процесса появились купцы-меценаты, покровители наук и искусств, а как его извращенный выброс - купцы, финансировавшие революционную деятельность радикалов. Но более заметной эта прослойка внутри сословия стала уже в следующее, последнее романовское царствование.

Охарактеризуем теперь тип сознания, свойственный чиновничеству. Эта довольно многочисленная социальная группа в отличие от до сих пор рассмотренных групп является межсословным образованием, т. е. выделяется не по сословному признаку, а по роду профессиональной деятельности. Необходимость ее специального, самостоятельного рассмотрения обуславливается даже не столько ее численностью, которая, впрочем, на рубеже XIX и XX вв. достигла около 500 тыс. человек, т. е. в два раза превзошла «первое сословие» государства - дворянство. Важнее другое, а именно то огромное влияние на общественные дела, которым обладало и обладает чиновничество во всяком государстве нового времени, и уж тем более в столь бюрократизированной империи, как Российская. А поскольку в предыдущих разделах специального внимания этой группе не уделялось, то мы в данном случае не станем ограничиваться временем предпоследнего романовского царствования, а взглянем на ее состояние в течение всего XIX столетия.

Пожалуй, не было в России другой такой социальной группы, которая постоянно, при любом правителе, подвергалась бы столь же резкой критике, как чиновничество. Более того, сказать о российских чиновниках

что-нибудь хорошее считалось признаком дурного тона. В литературе господствовал гротескный, монстрообразный образ чиновника «персонажа Сухово-Кобылина и Салтыкова-Щедрина. Для публицистов всех направлений они также служили обычной мишенью: либералы западнического толка видели в развращенной, невежественной и корыстолюбивой бюрократии едва ли не главное из зол существующего порядка; патриотические славянофилы и панслависты воспринимали ее как разносчика тлетворных, убийственных для русской самобытности европейских влияний. Чиновников поносили и ненавидели низшие слои населения, видевшие в них своих главных притеснителей, которые искажают волю народолюбивого «добротого царя». Их не упускала случая демонстративно покритиковать высшая власть, что позволяло ей таким образом частично снять с себя ответственность за различные непопулярные меры и тем самым продемонстрировать свою солидарность с общественностью. На них громогласно жаловалось купечество, само же развращавшее их всевозможными взятками и подношениями.

Словом, пороки российского чиновничества вошли в поговорку. Подобное отношение в целом, очевидно, справедливо. Однако оно, на наш взгляд, смазывает и огрубляет существовавшее в реальности положение вещей и, кроме того, не отражает динамики изменений рассматриваемого слоя.

Между тем чиновничество тоже не пребывало в застывшем состоянии. В течение XIX в. оно совершило определенный «дрейф», который в своих основных фазах сходен с путем, пройденным за тот же период высшей государственной властью.

Преобразования Сперанского не изменили существа российского чиновничества, однако придали ему определенную функциональную эффективность, т. е. достигли того, чего столетиями раньше безуспешно добивался Петр I. Это совсем не означает, что оно стало эффективнее в смысле социальном, т. е. более полезным для общества, или хотя бы перестало быть по отношению к отдельным людям и к стране в целом социальным злом. Но «колеса управленческой машины» стали вращаться более слаженно. Обломки разрушенной Петром приказной

системы (вернее, бессистемности) постепенно начали превращаться в нечто, хотя бы по внешним формам напоминавшее западноевропейскую бюрократию. Но чтобы ответить на вопрос, становилось ли от этого лучше управляемому народу, нужно сначала условиться, какой гнет следует считать более предпочтительным - беспорядочный или упорядоченный. А на сей счет существуют разные точки зрения.

Впрочем, степень функциональной эффективности имперской правительственной машины не следует переоценивать. Она по-прежнему оставалась весьма безалаберной и с трудом управляемой. Но все же на фоне предыдущего хаотического состояния прогресс был очевиден.

Однако вернемся к нашему главному вопросу - характеристике типа сознания, присущего данной группе. Если в царствование Александра I в среде столичного чиновничества мелькали некоторые проблески предперсоноцентристского сознания (некоторые из чиновников даже состояли в тайных обществах), то при Николае I ничего подобного уже не было. Липкий туман системоцентризма, окутавший официальную Россию, казался полностью непроницаемым. Причем наиболее верноподданной, в наибольшей степени пресмыкавшейся перед властью группой было именно чиновничество. (Кстати, в то время две трети чиновников составляли разночинцы, т. е. прослойка, из которой вскоре вышло множество активных борцов против режима. Это любопытно как лишнее доказательство неадекватности классовой модели анализа.)

Но в начале второй половины века в корпус чиновничества стали вливаться люди совсем иных ориентаций. Переломным моментом послужил конец царствования главного системоцентриста Империи - Николая I. Как и в других областях жизни, поражение в Крымской войне послужило толчком к обновлению. Бюрократия, как и все вокруг, начала меняться. Новые времена и идеи призвали к механизму управления государством и новых людей.

П.А. Зайончковский специально занимавшийся изучением динамики российского чиновничества в прошлом веке, констатирует: «В связи с подготовкой как крестьянской, так и других реформ выдвигаются такие талантливые представители либеральной бюрократии, как братья

Н.А. и Д.А. Милютины, А.В. Головнин, С.И. Зарудный, Н.И. Стояновский, В.А. Татаринцов и др.» 29) Процесс либерализации бюрократии затронул не только столицы. Он перекинулся и в провинцию. «Среди губернской администрации появляются такие честные, образованные и либерального образа мыслей губернаторы, как В.А. Арцимович, К.К. Грот, А.Н. Муравьев (бывший декабрист.- А.О.), В.И. Ден. (К ним надо отнести и деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина, когда он в конце 50-х - начале 60-х годов был вице-губернатором в Рязанской и Тверской губерниях.- А.О.) Однако их число было невелико» 30).

Несмотря на последнюю пессимистическую ремарку автора, все же несомненно наличие существенного прогресса. Причем движение вперед не было спонтанным, а направлялось высшей властью. Именно сверху были осуществлены мероприятия, стимулировавшие изменения в рядах бюрократии, созданы условия, при которых на поверхности административной жизни появились фигуры нового типа. Ведь реформы того периода в области управления имели явно выраженную либерально-демократическую направленность, поскольку в них делался совершенно очевидный акцент на расширение общественного самоуправления. Немудрено, что в подобных условиях чиновничество было просто вынуждено меняться. Причем само собой разумеется, что изменения затронули не только высший уровень бюрократической иерархии. Пришедшие к руководству ведомствами и учреждениями либеральные руководители нуждались в опоре и потому, вопреки сопротивлению инертной чиновничьей массы, стали подбирать своих ближайших сотрудников из числа единомышленников. А те, естественно, стремились распространить эту волну обновления еще дальше, на следующий этаж иерархии.

Итак, налицо несомненная тенденция либерализации корпуса чиновничества. А **либерализм, по нашему мнению, является, по существу, формой воплощения персоноцентристских ориентаций в сфере политики и управления. Таким образом, в 60-70-е годы прошлого столетия в русской бюрократии появилась пусть незначительная, но все же вполне заметная персоноцентристская**

прослойка. И кто знает, как развивался бы процесс дальше, если бы не известные трагические события.

«Розовый период» продолжался слишком недолго, и изменения не успели пустить глубоких корней. В этой сфере произошло то же самое, что и в сфере высшей политической власти и в общественном климате страны в целом. Рука Желябова и здесь сыграла роковую роль, походя столкнув российскую бюрократию, только-только начавшую выбираться из системоцентристского болота, обратно. Собственно, попятные движения в среде бюрократии начались еще при Александре II. Но их можно рассматривать как неизбежную борьбу старого с новым, борьбу с неясным исходом. После же 1 марта исход этой борьбы определился. Стрелка вектора твердо показала назад, и здесь, как и во всех других сферах, началась реставрация системоцентризма.

Так наряду с другими рухнула тогда и надежда на «персоноцентризацию» российского чиновничества.

До сих пор мы преимущественно говорили об этике меньшей в арифметическом отношении части народа. Однако это отнюдь не означает какой-либо недооценки «роли народных масс в истории». Напротив, одним из основных исходных моментов нашей концепции является гипотеза о **единстве этического генотипа и других культурных стереотипов у социальной верхушки и основной массы русского народа**, что объясняет необычную устойчивость на протяжении веков российской общественной пирамиды, неизменность действовавших в ней связей и отношений. Как известно, подавляющую часть населения страны составляло крестьянство. Отсутствие же в крестьянской среде сколько-нибудь развитых представлений о самоценности человеческой индивидуальности, ее абсолютный системоцентризм самоочевидным образом вытекают из ее многовекового общинного уклада. И в рассматриваемый период в ней по-прежнему господствовала общинная этика с отдельными вкраплениями этики имперской.

В то время о крестьянах в России писали много и обычно с симпатией. Это не удивительно. Ведь среди «пишущей» части общества

господствовала народническая идеология. Но в числе всех добродетелей и достоинств, которыми наделяли крестьян наши писатели, нельзя найти сколько-нибудь заметные элементы индивидуалистического сознания. Общеизвестный факт отсутствия такого рода элементов даже использовался авторами социалистического направления в качестве аргумента, якобы доказывающего наличие у русских крестьян «стихийных социалистических идеалов» и предопределяющего в этой связи легкость построения в России социалистического общества.

Но постепенно набравший силу **процесс имущественной дифференциации крестьянства медленно подмывал устои общинной этики**. Впрочем, последствия этого процесса в этической сфере стали достаточно заметными уже позднее, в царствование Николая II. При Александре II они только начали обозначаться.

Значительно дальше зашел к рассматриваемому моменту другой деструктивный процесс в крестьянской этической системе - процесс разрушения авторитетов. Вряд ли можно выделить один конкретный исторический момент и первопричину его возникновения. Может быть, это началось еще при Петре, когда впервые на российской почве стала насаждаться имперская этика и потускнел образ «царя-батюшки»; может быть, решающую роль здесь сыграла отмена крепостного права и утрата помещиками своего властного авторитета «хозяина-барина»; а может, помещики потеряли авторитет в глазах своих крестьян еще раньше, когда изменили традиционному домашнему укладу и «офранцузились»... Так или иначе, но процесс этот, подобно метастазам, распространился на все сферы крестьянского сознания, в которых существовали авторитеты. Поразил он и ту область, которую принято считать краеугольным камнем этики простонародья, - область религиозной идеологии, о чем выше уже говорилось. К 90-м годам разрушения, произведенные этим процессом в системе этических ценностей крестьянства, были уже весьма значительными. И самым тревожным было то, что на месте разрушенных норм не появлялось никаких других. Крестьянин лишался, по сути, единственного стержня,

который делал его морально полноценным и даже, с некоторой точки зрения, гармоничным человеком, и превращался в существо, не обладающее никакими представлениями о смысле жизни (т. е. никак не соотносящее себя с каким-либо духовным абсолютом) и подчиняющееся в своем поведении минутным импульсам.

Страшное по своей жестокой достоверности описание таких «безнормативных» крестьян дал А.П.Чехов в маленькой повести «Мужики». Гуманист в высшем смысле слова, человек, максимально склонный открывать в другом хорошее, как никто, умевший отыскать и понять красоту чужого духовного мира, Чехов в данном случае не сумел сказать о своих персонажах ничего доброго и оставил строки, потрясающие горькой безысходностью, беспросветностью всеобщего имморального существования: «Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговориться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек. Старик не верил в Бога потому, что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь: «А кто ж его знает!» Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала: «Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери...» Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о Боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал...

На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покров в Жукове был приходской праздник, и мужики по этому случаю пили три дня, пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети

вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливало водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную... Громадная толпа своих и чужих загрозила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк - все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача: «Заступница, матушка! Заступница!»

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто... Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса» 31).

Вот на этой картине нравственной аномии, которая постепенно разъедала традиционалистскую этику, закончим пока разговор о русском крестьянстве.

В рассматриваемый период более или менее заметной социальной группой начинают становиться **фабричные рабочие** - пролетариат. Эта **новая общественная сила** (которую впоследствии льстиво назовут «гегемоном революции», чтобы заниматься политическим манипулированием от ее имени) и по своему происхождению, и по положению в социальной структуре, и по характеру трудовой деятельности **изначально была насквозь системоцентричной**.

Послушаем первого теоретика пролетарской революции в России, посвятившего пролетарской психологии специальную работу: «Освободительная борьба пролетариата есть массовое движение. Поэтому и психология этого движения есть психология массы... Пролетарий есть прежде всего «общественное животное», чтобы употребить здесь, слегка изменяя его смысл, известное выражение Аристотеля. Это бросается в глаза всем сколько-нибудь наблюдательным людям. Вернер Зомбарт, далеко не с любовью описывающий душу современного пролетария, говорит, что этот последний чувствует себя такою величиной, которая ничего не значит, будучи взята сама по себе, и приобретает значение, лишь будучи

сложена со многими другими» 32). «Каковы бы ни были времена, а факт тот, что «интеллигент» более всего склонен уповать на «личность», а сознательный рабочий - на массу. Отсюда - две тактики» 33).

Трудно представить себе более однозначное, более определенное описание сути системоцентристского мировоззрения. А поскольку Георгий Валентинович хорошо знал материю, о которой писал, то его свидетельство можно считать весьма авторитетным подтверждением пролетарского системоцентризма.

Возразить можно лишь против обычного марксистского стереотипа «приписывания пролетариату якобы присущей ему извечной имманентной революционности. Между тем вплоть до 1905 г. известны лишь единичные случаи участия лиц пролетарского происхождения в какой-нибудь оппозиционной политической деятельности. Во всяком случае рабочая масса долгое время почти в той же степени, что и крестьянство, отнюдь не сочувствовала революционной идеологии и самым грубым образом третировала ее носителей «интеллигентов. Полным горькой исторической иронии символом отношения разных слоев общества к идее борьбы с режимом может служить поведение публики во время гражданской казни Чернышевского: интеллигенты забрасывали его цветами, а рабочие освистывали. Подобное верноподданническое усердие будущих «гегемонов революции» имело место и значительно позднее. Так, уже незадолго до воцарения Александра III, после очередного неудачного покушения на его отца, «в Петербурге на Невском проспекте кучки рабочих задирали интеллигентных людей и даже кое-где избивали их. То же повторилось в некоторых других местах, особенно в Саратове» 34). «Удручающее равнодушие» рабочей массы к самоотверженной борьбе интеллигентов-радикалов за ее интересы отмечает и советский исследователь Троицкий 35).

Максимум, на что мог рассчитывать революционер, - это глухая симпатия, да и то возникавшая лишь в тех случаях, когда его отождествляли с традиционным образом «вольного разбойника» - бунтаря разинско-пугачевского типа, под предводительством которого можно безнаказанно, на дармовщину, погулять и пограбить. Последующие поколения революционеров сумели использовать в своих

целях распространившийся на них ореол этого образа. И то, что именно на такой почве им удалось найти контакт с народной, в том числе с рабочей, средой, на наш взгляд, самым недвусмысленным образом доказывает устойчивый, глубокий системоцентризм этой среды.

И, увы, приходится констатировать, что **в той же шеренге сил социального системоцентризма действовала и радикальная интеллигенция**. В период, о котором сейчас идет речь, существовали две главные разновидности радикального интеллигентского умонастроения.

Первая из них - анархизм. Как известно, анархистская программа подвергала уничтожающей критике все основные институты современного ей общества, а в своей позитивной части основывалась на тех же общих просветительских посылках, что и либералы, но была неизмеримо более утопичной. Проникнутая в целом разрушительным духом, она имела явно выраженную деструктивную направленность. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с образом мыслей многолетнего идейного вождя русского анархизма - Петра Алексеевича Кропоткина.

Его книга «Речи бунтовщика» состоит из передовых статей, написанных им для французской анархистской газеты «Le Revolte». Отдельным изданием она впервые вышла в 1885 г., а в русском переводе - в 1905 г. Приведем из нее некоторые наиболее яркие и характерные выдержки (36).

«Старый мир быстрыми шагами приближается к всемирной революции» (37). «Государство, т. е. политическое устройство, при котором все дела всего общества передаются в руки немногих, будет ли то царь и его советчики, или парламент, или республиканское правительство, - такая форма политического устройства отживает свой век. Человечество уже ищет новых форм политической жизни, новых начал политической организации, более согласных с современными воззрениями на права личности и на равенство в обществе» (38). «Мы с радостью ждем того дня, когда народ потребует низвержения среднего сословия» (39). «Права человека существуют лишь постольку, поскольку он готов

защищать их с оружием в руках. Не законами, не парламентом обеспечена свобода в Англии, а всегдашней готовностью английских рабочих пустить в дело силу» 40). «Вместо трусливого «повиновения законам» мы говорим: «Бунт против всех законов» 41). «Подобно капиталу, закон - продукт разбойничества и так же мало, как капитал, он имеет прав на уважение. А потому первым долгом революционеров девятнадцатого века будет сжечь все законы вместе с грамотами, охраняющими собственность» 42).

«Революция есть нечто, прямо противоположное самой идее правительства - отрицание его, потому что правительство есть поддержание «установленного порядка», консерватизма, т.е. стремление к сохранению существующих учреждений, безусловно враждебное личному почину и личной деятельности» 43).

Кропоткин не ограничивался общими призывами к революции, как делали тогда многие, не отдавая себе отчета в том, к чему, собственно, они призывают. Живописуя грядущие разрушения, он отлично сознавал, что субъектом этой разрушительной деятельности должна быть народная масса, толпа, и прекрасно понимал, какого джинна он намеревается выпустить из бутылки. Одна из глав книги - «Бунтовской дух» - специально посвящена обоснованию необходимости разработки методики возбуждения и мобилизации массы. На примерах из Французской революции 1789 г. князь Петр Алексеевич весьма откровенно рассматривает различные манипуляторские приемы собирания толп и заражения их революционным неврозом - всевозможные формы письменной и устной агитации, организацию беспорядков и актов насилия, издевательство над чучелами лиц, против которых следует направить эмоции массы, дезорганизацию общественной жизни... Он даже полностью оправдывает тактику использования подонков, преступных элементов: «Когда нужно было освистать на улице его Высокопреосвященство, архиепископа парижского, то товарищей, вооруженных дубинами, приходилось искать в самых темных кабачках предместий, а что бы там ни говорили теперь, сто лет спустя, конфузливые и благонравные историки! Их искали в

самых худых кабачках и притонах, среди всякого народа, от которого теперь сторонятся перчаточные республиканцы» 44).

Кропоткин исходил из того, что революция, разрушив любыми средствами царство несвободы, откроет дорогу возникновению нового, свободного мира. Но он ошибся. На развалинах разрушенного встало царство еще большей несвободы. Пусть нет никаких оснований подвергать сомнению благородство устремлений Кропоткина-революционера, искренность его идеалистических надежд на самопроизвольное возникновение свободной ассоциации людей. Но Кропоткин-ученый, посвятивший многие годы изучению Французской революции 45), обязан был сознавать, что на практике дорога, встать на которую призывали он и его товарищи, независимо от их благих намерений, могла привести лишь к хаосу и возобладанию самых темных стихий, самых низменных инстинктов, истинный смысл которых к тому же весьма нелегко распознать, поскольку они прячутся под красивыми словами и возвышенными чувствами. Именно так впоследствии и случилось в нашей стране.

Другой разновидностью радикальных интеллигентов были оппоненты анархистов по вопросу о роли государственной власти в построении нового мира - народовольцы. Они, как известно, в своих политических воззрениях (конечно, в той мере, в какой у них вообще имелись конструктивные идеи) были «государственниками», т. е. отводили государству немаловажную роль в будущем обществе, которое, впрочем, представляли весьма смутно. Наиболее четко и определенно эта идеология выражена в написанной в 1876 г. работе российского якобинца Петра Ткачева «Революция и государство». После 1 марта влияние народовольцев на общество резко упало, но все же как некая политическая сила и выразители определенного умонастроения идейные наследники Желябова и первоапрельской программы просуществовали все царствование Александра III.

Большая часть русских интеллигентов того периода, хотя они и не разделяли целиком идеологию какого-либо из двух названных течений, все же в той или иной мере находилась в пределах действия их «силовых полей». В условиях невозможности легальной оппозиционной

политической деятельности **романтика** **непосредственной радикальной борьбы с правительством в течение долгого времени оставалась главным идеалом русского интеллигента, особенно в молодости**, единственном периоде жизни, когда он жил безоглядно и бескомпромиссно, «по совести». «Молодежь в ряде сменявших друг друга поколений была охвачена резко антиправительственным настроением, выразившимся в непрерывных студенческих беспорядках и движении к народу, в отказе от привилегий и традиций. Среднее образованное общество сочувствовало молодежи, а не правительству». Таким образом, силы, имевшие колоссальную потенцию и желание бескорыстно служить родине, **силы разума и социального альтруизма были отобилизованы и ... направлены на ложный, губительный и для них самих, и для общества путь**. Вот как оценивал эту ситуацию в 1877 г. Л.Н.Толстой: «Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам потрачено нашей молодой интеллигенцией на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям. И что же сделано? Ничего. Хуже, чем ничего. Погубили страшные душевные силы. Коля переломали и землю убили плотнее, чем прежде была, что и заступ не берет» 46).

Жестокая бессмысленность революционного пути служит основным пафосом рассказа «Божеское и человеческое», а также ряда других вещей Толстого. Применительно к революционному радикализму генеральная идея толстовской философии о непротивлении злу насилием превращается в мысль о том, что угнетенный обладает по отношению к своему угнетателю нравственным превосходством, которое он утрачивает, насильно освобождаясь из-под гнета.

Но для понимания и принятия этой мысли необходимо не только подняться над «злостью дня», но и отрешиться от многих выработывавшихся веками социальных инстинктов. А для этого в реальности российской жизни не было никаких предпосылок. И несмотря на весь громадный моральный авторитет Толстого, несмотря на его колоссальную способность к художественному убеждению, толстовская этика не смогла стать кодексом практического поведения не только для

широких масс, но даже и для самой развитой части населения страны - интеллигенции. **Ее значительная часть искала справедливости на заманчивых путях социального радикализма, т. е. оставалась в пределах все того же системоцентристского генотипа.**

Даже теперь, в полной мере зная, сколь глубока и страшна оказалась бездна, к краю которой подталкивал Россию революционный максимализм радикальных интеллигентов, мучительно трудно произносить в их адрес слова осуждения, ибо в основе тягчайшего по своим последствиям заблуждения лежали чистые и самоотверженные устремления лучшей части общества.

И все же во имя нашего будущего, во имя того, чтобы подобная трагедия больше не повторилась, чтобы не быть снова отброшенными на столетие назад, **мы обязаны произнести над могилой интеллигентского радикализма обвинительный вердикт.** И отягчающим обстоятельством должно послужить то, что не вся интеллигенция пошла по этому пути, что некоторая ее часть уже нащупала в то время другую дорогу.

Мы много цитировали здесь Б.Н. Чичерина. Но Чичерин был отнюдь не одинок. Персоноцентристская этика и вытекающий из нее либерально-просветительский путь служения народу становились достоянием все большего числа людей.

Кристаллизация персоноцентризма в качестве феномена общественного сознания началась, как мы видели, еще в 50-60-е годы. А в царствование Александра III интеллигентский персоноцентризм уже вполне оформился как самостоятельное, весьма значимое идейное течение. К несчастью, этому течению не суждено было сыграть в истории России роль Избавителя, роль Мессии, хотя если кому-нибудь она и была по плечу, то только либеральным интеллигентам-персоноцентристам. Наша историческая судьба сложилась иначе. Но сам факт возникновения и существования данного течения заслуживает пристального внимания и глубокого изучения, поскольку при общем ретроспективном взгляде оно оказывается самым значительным светлым пятном в русской истории, где испокон веку господствует однообразно серый тон с периодически

повторяющимися буро-красными полосами. Оно единственное противопоставило себя господствовавшей в обществе идеологии, которая, несмотря на некоторое разнообразие, а порой даже внешний антагонизм отдельных ее разновидностей, в основе была единой - системоцентристской.

В рассматриваемый период времени интеллигентский персонцентризм достиг той стадии развития, на которой происходит «специализация», разветвление идеологии. Она разделилась по меньшей мере на три ветви: художественную, научную и идеологию «незаметного служения». В таком порядке и обсудим их.

Самой заметной для современного ей общества и самой известной для нас, потомков, является, конечно, художественная ветвь персонцентризма. Такова уж специфика этого рода деятельности, выдвигающая ее к рампе, в центр общественного внимания. О русской художественной культуре того времени написаны горы книг. Мы же скажем лишь о тех аспектах, которые особенно существенны для нашей концепции.

Прежде всего, в русской художественной культуре 80-90-х годов наиболее ярко проявился происходивший в то время **процесс деполитизации** интеллигенции. Начало 80-х годов стало в этом отношении заметным рубежом. Если полутора десятилетиями ранее идеология социального радикализма легко выиграла битву с либеральной идеологией за умы и сердца «властителей дум» поколения, то теперь ситуация изменилась. Уже не единицы, как тогда, а значительно большее число людей отвернулось от радикалистских рецептов, а заодно и вообще от политики. Разочаровавшись в безуспешных попытках сплеча решить социально-политические проблемы страны, а может быть, и осознав принципиальную бесплодность подобных скоропалительных действий, умеренный интеллигент отыскивал для себя новые сферы приложения сил и интересов. Взамен политических вопросов он обратился либо к внутреннему миру отдельного человека, либо к области чистой эстетики (по выражению Короленко, ушел в «культурные скиты»). В результате

лидерами общественного мнения вместо социальных философов и политиков стали писатели, поэты, художники, скульпторы...

Отказ от радикалистских идеалов со всей определенностью прозвучал в стихах Надсона 47):

Нет, я больше не верую в ваш идеал,
И вперед я гляжу равнодушно:
Если б мир ваших грез наконец и настал, -
Мне б в нем было мучительно душно.

Стихотворение было написано в 1883 г. Правда, сам Надсон не удержался на этой позиции, а метался из стороны в сторону до конца своей короткой и горькой жизни. Но это уже другая история.

Отказ от политики отнюдь не означал, что интеллигент-персоноцентрист стал безразличен к общественным проблемам. Напротив, он начал переживать их еще болезненнее. И потому еще более тягостным стало «то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью» 48).

Это чувство проявилось в углубленном внимании к проблемам отдельной личности, одновременно породив и великую грусть за человека, столь отчетливо проступающую в произведениях писателей того времени - Г.И. Успенского, А.П. Чехова, В.М. Гаршина, позднего М.Е. Салтыкова-Щедрина, самого раннего Короленко... В том или ином обличье печаль о человеке встает почти с каждой страницы тогдашних больших и совестливых писателей. Достаточно вспомнить хотя бы чеховские рассказы или пронзающую душу пророческую гаршинскую историю прекрасной пальмы, которая всю свою энергию, все силы вложила в борьбу за свободу и ценой огромных усилий разрушила отделявшую ее от внешнего мира крышу теплицы - «...лопнула толстая железная полоса, посыпались осколки стекла». Над стеклянным сводом гордо выпрямилась зеленая крона пальмы на вольном просторе. Но освобождение стоило героической пальме жизни, ибо она не могла существовать в безжалостном, студенном климате страны, на земле которой была построена теплица: «Была глубокая осень. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи... Allatea поняла, что для нее все кончено. Она замерзала» 49).

Но как ни тяжело бывает на душе при чтении литературы того времени, она все же не безнадежна потому, что беспросветность изображаемой жизни отчасти уравновешивалась способностью смеяться над нею. Этим великим целительным средством в высшей степени владели и Чехов, и Салтыков-Щедрин.

За свою способность смеяться писатели расплачивались непомерно дорогой ценой. Видно, умение превращать страшное в смешное, как и всякое подлинное чудо, нелегко дается его творцу.

«Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность, - употребляя терминологию химиков, - неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..» 50)

Своей кровью превращая слезы в смех, русские писатели делали великое и благородное дело. Прекрасно сказал об этом Короленко в статье на смерть Салтыкова-Щедрина: «К счастью для среднего русского человека, в самые мрачные минуты нашей недавней истории мы слышали этот смех... Он брал испуганного среднего человека за руку, гладил его по головке, обещал, что никогда генералу Отчаянному не удастся пожарной кишкой залить солнце, и хотя на сердце у него тоже кошки скребли, хотя сам он прислушивался с болью, как свинья гложет правду в темном хлеву, хотя самого его свинья уже хватала за ляжки, - он все-таки ободрял и утешал. Он уводил среднего человека от ужасного зрелища генерала Отчаянного, сверкавшего в темноте кровожадными глазами, и указывал ему на другого генерала: знаешь, кто это в балете сейчас такое удивительное коленце выкинул? Тоже генерал. Действительный статский советник Мариус Петипа. Вот видишь, дескать, не все же они Отчаянные.

И средний человек смеялся. Да, нужно было великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки» 51) .

И благодаря этому подвигу писателя «средний русский человек» обретал силу и иммунитет, чтобы противостоять ужасу жизни,

усугубляемому «хлевному ликованием» официозной литературы, которой и тогда было предостаточно. И потому не угасали в интеллигенции надежда и вера в возможность лучшего будущего - чувства, без которых невозможно работать для наступления этого будущего.

Художественная ветвь персонцентризма включала в себя не только литераторов. Все в те же «годы безвременья» новые веяния пришли и в живопись. После передвижников 70-х годов с их ярко выраженной, порой даже нарочитой, социальной заостренностью в фокусе внимания образованной публики оказываются живописцы, обращенные к внутреннему миру человека, к вечным проблемам бытия, к вопросу о месте человека в мире безотносительно к его социальному статусу. Иными словами, главным предметом рефлексии художника стало не общество, а индивид с его извечными, не зависящими ни от характера социального окружения, ни от времени моральными и философскими проблемами.

Каждый крупный мастер по-своему решал эти задачи: М.А. Врубель — в сфере символических образов и мистических откровений, Н.Н. Ге, на рубеже 80-х годов отказавшийся от передвижнической идеологии, — переосмысливая евангельские сюжеты о страданиях Христовых, а И.И. Левитан — соотнося природу со знаками, оставляемыми в ней человеком. Нового уровня выразительности достиг в те годы и жанр психологического портрета, разрабатывавшийся с такой жадностью, словно художники инстинктивно стремились восполнить, пусть с трехвековым опозданием, этот зияющий пробел в отечественной живописи. Словом, в живописи, как и в литературе, **акцент переместился в сторону индивидуализма.**

Второй разновидностью интеллигентского персонцентризма стала его научная ветвь. Либерально-индивидуалистическую идеологию начали исповедовать и распространять присущими своей профессии средствами ученые. Ведущую роль здесь играли, конечно, гуманитарии, такие, как историки В.О. Ключевский, Н.И. Кареев, юристы М.М. Ковалевский и Б.Н. Чичерин, социолог Н.К. Михайловский... Под их идейным воздействием то же делали и многие не столь выдающиеся

ученые, которых в отличие от перечисленных вряд ли можно отнести к категории общественных мыслителей. Но процесс не ограничивался гуманитарной сферой. Свою лепту вносили в различных формах и представители естественных наук. Во всяком случае **и в научных кругах дух персоноцентризма ощущался в 80-90-х годах все явственнее.**

Наконец, третьей разновидностью описываемого явления стало то, что мы условно обозначаем как идеологию «незаметного служения». В количественном отношении эта часть была наиболее значительной. Мы включаем в нее учителей, земских врачей, библиотекарей, агрономов, лесоустроителей, мелиораторов и людей множества других так называемых массовых интеллигентных профессий. Спокойно, без громких фраз и эффектных жестов они отдавали свои способности, знания, жизнь кропотливой, повседневной работе на общее благо. Сея «разумное, доброе, вечное», они помогали своему народу освободиться пусть пока еще не от системоцентризма, но хотя бы от его неизбежных спутников и опор - нищеты, невежества и скотства.

Конечно, далеко не все представители перечисленных профессий поднимались до уровня этой своей социальной роли. Встречались среди них и проходимцы, и просто безразличные ко всему службисты. Но таких было немного, ибо сама специфика труда этих людей просеивала их по моральным качествам. И дело даже главным образом не в материальной стороне, хотя почти неременной предпосылкой выбора данного рода деятельности было изначальное личное бескорыстие.

Просто в отличие от представителей каждой из двух рассмотренных выше ветвей интеллигентского персоноцентризма люди, ставшие на путь незаметного служения, не могли рассчитывать на сколько-нибудь громкое общественное признание своей жертвы и заслуг. Вполне понимая самоценность собственной индивидуальности, обладая развитым личностным самосознанием, они в то же время несли в себе такую нравственную силу, что смогли добровольно, не ожидая в будущем никаких наград, положить свою единственную, неповторимую

жизнь на алтарь благородного дела. Поэтому, наверное, будет справедливо признать их наиболее самоотверженной частью движения. Эти безымянные герои «поры безвременья» смогли и успели сделать многое. И, думается, в первую очередь **именно они сумели бы в конце концов вытащить Россию из системоцентристской трясины...** Сумели бы... Но для этого судьба должна была отпустить им хотя бы немного больше времени и исторического счастья.

В целом чистота побуждений, благородство устремлений были существенными элементами группового сознания каждой из трех разновидностей персоноцентристской интеллигенции. Более того, эти же качества в значительной мере были присущи и радикальной интеллигенции.

Суммируя проведенный анализ, можно, по-видимому, назвать четыре главные отличительные особенности персоноцентристской идеологии: во-первых, это общая ее **ориентация на высшую ценность человеческой индивидуальности**; во-вторых, **конструктивный подход к действительности**, стремление не разрушать существующий мир, а терпеливо, постепенно созидать новые отношения и, главное, нового человека; в-третьих, **господство просветительских, культуртрегерских установок**; наконец, в-четвертых, **неприязненное и пренебрежительное отношение к политике**, нежелание заниматься ею (что, естественно, ни с какой стороны не противоречило их выступлениям в защиту преследуемых правительством радикалов, так как в подобного рода ситуациях проявлялись отнюдь не политические симпатии, а принципиальное либеральное неприятие любых гонений за убеждения).

Последняя из перечисленных особенностей сыграла в дальнейшем решающую роль. С одной стороны, политический эскапизм дал интеллигентам-персоноцентристам возможность сохранять нравственную чистоту и необходимую для глубокого осмысления действительности дистанцию по отношению к политической кухне. Но с другой - добровольно отказавшись от выхода на политическое ристалище, они лишили себя очень важной арены борьбы за

реализацию своих идеалов. Арена эта, на которой в конечном счете все и решилось, осталась в распоряжении крайних полярных сил - радикалов и ретроградов. Блока же умеренных политиков долгое время вообще не существовало, а когда под давлением обстоятельств он все же появился, то фигуры, вошедшие в него, оказались явно непригодными для выполнения исторически возникших перед ними задач.

Итак, мы довольно подробно описали типологию общественного сознания и различные его формы перед концом XIX в. Подытоживая это описание, постараемся осмыслить, чего ждало общество, подходя к рубежу двадцатого столетия. Пожалуй, это было **предчувствие и ожидание грядущих социальных катаклизмов**. Названные чувства распространились среди самых разных социальных слоев, на самых разных уровнях общественной пирамиды. Естественно, отношение к подобной перспективе было различным и даже полярно противоположным. Но и облеченные властью сановники, и утратившее чувство стабильности жизненного уклада крестьянство, и нарождавшийся городской пролетариат, и либеральные интеллигенты, и радикалы-революционеры - все предчувствовали надвигающуюся бурю. Такие предчувствия отчетливо видны и в художественной литературе, и в философских трактатах как светских, так и религиозных направлений, и в описаниях дискуссий в правительственных сферах, и даже в изобразительном искусстве. Но мы ограничимся в качестве примера мнениями двух людей, которые обладали весьма рациональным складом мышления и мощным интеллектом и суждения которых неоднократно помогали нам при освещении данной эпохи.

Плеханов, подводя итог своему в первую очередь социально-экономическому анализу царствования Александра III, резюмировал в 1894 г., что «глиняные ноги» «северного колосса» с каждым днем все больше начинают подкашиваться», что сельская община, бывшая исконной основой русского деспотизма, «разрушена самим же деспотизмом», что русские реакционеры своими недалекими действиями подорвали основу собственного господства и потому являются, по сути, «самыми большими революционерами», наконец, что

«целых тринадцать лет Александр III сеял ветер», а «Николаю II предстоит помешать тому, чтобы буря разразилась. Удастся ли ему это?» 52).

С других позиций, но с еще более определенным ожиданием надвигающихся катастроф смотрел в ближайшее будущее Чичерин: «Россия выходит из этого царствования внутренне расстроеною, нравственно приниженою, умственно недоумевающею. Что сулит ей будущее?

Оно покрыто непроницаемым мраком. Не только Россия, но и вся Европа стоит перед какими-то зловещими призраками, которые грозят разрушением всему существующему строю человеческих обществ. Настоящее положение невыносимо. Страшное напряжение военных сил, истощение средств, повсюду внутренняя разладица, впереди ожидание нескончаемых потрясений и кровавой борьбы, невежественные массы, которые дружными фалангами сплочаются под знаменами демагогов и грозным натиском идут на завоевание государственной власти, с тем чтобы сделать ее орудием для ограбления зажиточных и образованных классов, вот что мы имеем перед глазами» 53).

На этом трагическом пророчестве можно было бы закончить рассмотрение положения вещей к началу последней сцены длившегося более трех веков представления, в котором Романовы исполняли заглавные (но далеко не всегда самые важные) роли. Однако, поскольку мы пишем не политическую историю, а скорее «историю духа», следует со всей определенностью зафиксировать еще один очень важный для нас момент.

Либеральное крыло интеллигенции представляло по сравнению с радикалами значительно меньшую видимую угрозу для конкретных носителей политической власти, но в перспективе оно вело к постепенному размыванию всего системоцентристского сознания и основанного на нем политического режима. И поэтому, если видеть общественное благо в ликвидации «людодерского» системоцентризма и замене его персонцентристскими, индивидуалистическими ценностями, то **деполитизация либеральной интеллигенции принесла стране большое несчастье**. Ибо пока либералы занимались наукой, творили

прекрасное, пытались просвещать и перевоспитывать народ, радикалы продолжали свою подземную работу по подготовке к перевороту пирамиды власти. Единственная сила, которая была в состоянии реально помешать их окончательному торжеству, выдвинув подлинно конструктивную альтернативу их программе и тем самым идейно их похоронив, самоустранилась из этой сферы деятельности.

После рокового толчка 1881 г. страна, несмотря на устойчивый экономический рост, в целом неудержимо сползала назад. А поскольку во всех остальных отношениях время на месте не стояло и тектонические процессы развития продолжались, то позади вместо прежнего уютного системоцентристского болота открылась пропасть. На дно этой пропасти и предстояло России покатиться менее чем через четверть века после конца правления императора Александра III.

Сноски к главе 6.

- 1 В литературе ее иногда называют завершением судебной «контрреформы», т. е. последним шагом в отступлении от принципов, установленных Судебной реформой 1864 г.
- 2 Чичерин Б.Н. Воспоминания: Земство и Московская дума. М., 1934. С.103.
- 3 Там же. С.104.
- 4 Там же. С.105.
- 5 Там же. С.220-221.
- 6 Там же. С.240.
- 7 Там же.
- 8 Там же. С.299.
- 9 См., напр.: Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1964.
- 10 См.: Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866-1895 гг. М., 1979. С.99.
- 11 См.: Там же. С.70.
- 12 См.: Короленко В.Г. История моего современника // Собр. соч. В 10 т. М., 1955. Т.7. С.201-213.
- 13 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.34. С.380.
- 14 Там же.
- 15 Там же. Т.36. С.260 (письмо к В.Засулич).
- 16 Цит. по: Троицкий Н.А. Указ.соч. С.253. По этому же источнику излагаются и другие данные о деле Гартмана и поддержке народников западным общественным мнением.
- 17 Чичерин Б.Н. Указ.соч. С.290.
- 18 Там же. С.291-292. Скажите, чем это принципиально отличается от первого, «бескровного» периода правления германских нацистов? И происходило это на нашей с вами земле всего лишь век с небольшим назад.
- 19 Там же. С.293.
- 20 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 тт. Т.39. С.65.
- 21 Там же. Т. 90. С.437.

- 22 Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С.59-61.
- 23 Плеханов Г.В. Царствование Александра III // Соч. М.; Л., 1927. Т.24. С.163.
- 24 Там же.
- 25 Чичерин Б.Н. Указ.соч. С.292.
- 26 Плеханов Г.В. Царствование Александра III // Там же. С.167.
- 27 Чичерин Б.Н. Указ.соч. С.42.
- 28 Там же. С.279.
- 29 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978. С.186-187.
- 30 Там же. С.190.
- 31 Чехов А.П. Полн.собр.соч. М., 1977. Т.9. С.306-307.
- 32 Плеханов Г.В. К психологии рабочего движения // Там же. С.258.
- 33 Там же. С.262.
- 34 Короленко В.Г. История моего современника // Собр. соч. Т.7. С.96.
- 35 См.: Троицкий Н.А. Указ.соч. С.171,173,176,180 и др.
- 36 Цит. по более позднему изданию: Кропоткин П. Речи бунтовщика. Пг., 1921.
- 37 Там же. С.3.
- 38 Там же. С.10-11.
- 39 Там же. С.29.
- 40 Там же. С.47.
- 41 Там же. С.220.
- 42 Там же. С.40.
- 43 Там же. С.244-245.
- 44 Там же. С.289.
- 45 См.: Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. М., 1979.
- 46 Спелые колосья: Сб. мыслей и афоризмов из частной переписки Л.Н.Толстого. Женева, 1896. С.218.
- 47 Кстати, ценность художественной литературы как исторического источника, на наш взгляд, чрезвычайно велика. Писатель вообще и поэт в особенности и ощущают, и передают дух времени глубже и тоньше, чем кто-либо другой. Даже в тех случаях, когда литератор ангажирован и

пишет по прямому или косвенному заказу властей хвалебные оды, преследующие цель отнюдь не правдивого отображения действительности и чувств своих современников, а, напротив, создания социального мифа, то и тогда его произведения становятся для потомков весьма ценным документом, свидетельством эпохи, правда, в ином смысле, нежели рассчитывали автор и заказчик.

48 Короленко В.Г. Антон Павлович Чехов // Собр. соч. М., 1955. Т.8. С.92.

49 Короленко В.Г. Всеволод Михайлович Гаршин // Там же. С.238.

50 Короленко В.Г. Антон Павлович Чехов // Там же. С.94.

51 Короленко В.Г. О Щедрине // Там же. С.286-287.

52 Плеханов Г.В. Соч. Т.24. С.168.

53 Чичерин Б.Н. Указ.соч. С.299-300.